

Жюль Верн

**Малыш**



Жюль Верн

**Малыш**

«Public Domain»

1893

## **Верн Ж. Г.**

Малыш / Ж. Г. Верн — «Public Domain», 1893

«Ирландия, обнимающая поверхность в двадцать миллионов акров, то есть почти десять миллионов гектаров, находится под управлением вице-короля или наместника, уполномоченного королем Великобритании. Она разделена на четыре провинции: на Лейнстер – на востоке, Мюнстер – на юге, Коннаут – на западе и Ульстер – на севере. Историки утверждают, что Соединенное королевство занимало некогда лишь один остров. Теперь их два, разделяемых более политическими несогласиями, нежели физическими препятствиями. Ирландцы, будучи друзьями французов, остаются, как и прежде, врагами англичан...»

## Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
Глава первая. В ГЛУБИНЕ КОННАУТА	6
Глава вторая. КОРОЛЕВСКИЕ МАРИОНЕТКИ	11
Глава третья. ШКОЛА-ПРИЮТ RAGGED SCHOOL	16
Глава четвертая. ПОГРЕБЕНИЕ ЧАЙКИ	22
Глава пятая. ОПЯТЬ RAGGED SCHOOL	26
Глава шестая. ЛИМЕРИК	32
Глава седьмая. ПЕРЕМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ	38
Глава восьмая. КЕРУАНСКАЯ ФЕРМА	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Жюль Верн

## Мальш

*По изданию: «Мальш» – приложение к журналу «Природа и люди», 1907 год;*

\* \* \*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава первая. В ГЛУБИНЕ КОННАУТА

Ирландия, обнимающая поверхность в двадцать миллионов акров, то есть почти десять миллионов гектаров, находится под управлением вице-короля или наместника, уполномоченного королем Великобритании. Она разделена на четыре провинции: на Лейнстер – на востоке, Мюнстер – на юге, Коннаут – на западе и Ульстер – на севере.

Историки утверждают, что Соединенное королевство занимало некогда лишь один остров. Теперь их два, разделяемых более политическими несогласиями, нежели физическими препятствиями. Ирландцы, будучи друзьями французов, остаются, как и прежде, врагами англичан.

Ирландия, страна интересная для туристов, мало привлекательна для ее обитателей. Они не могут сделать ее плодородной, а она не может их прокормить. И хотя эта мать не имеет молока для своих детей, они все страстно любят ее. И называют самыми нежными именами: «Зеленым Ирином», «Чудным изумрудом», оправленным в гранит, а не в золото, «Островом лесов», хотя он более остров скал, «Страной песен», хотя песни исходят из больных и слабых уст, «Первым цветком земли», «Первым цветком морей», хотя цветы эти быстро вянут под натиском бурь. Бедная Ирландия! Ее вернее было бы назвать «Островом нужды», именем, которое ей следовало бы носить уже целые века!

В Ирландии равнины, озера и торфяники между Дублинским и Галуейским заливами разделены двумя возвышенными полосами. Остров напоминает в середине лохань – лохань, в которой нет недостатка в воде – все, вместе взятые, озера «Зеленого Ириона» составляют две тысячи триста квадратных километров.

Уестпорт – маленький городок в Коннаутской провинции – находится в середине залива Клу, усеянного тремястами шестьюдесятью пятью островками, как Морбиган у берегов Британии. Это один из красивейших заливов, весь испещренный мысами, которые по форме напоминают зубы акулы, разгрызающей гребни несущихся волн.

В этом-то Уестпорте мы и познакомимся с Малышом и проследим потом его жизнь.

Население городка – около пяти тысяч жителей, по большей части католического вероисповедания. В день, когда начинается наше повествование, в воскресенье 17 июня 1875 года, большинство жителей отправилось к обедне.

Провинция Коннаут производит преимущественно тип кельтов, хорошо сохранившийся в среде коренных жителей. Но какая ужасная эта страна, вполне оправдывающая общее о ней мнение: «В Коннауте не лучше, чем в аду»!

Несмотря на бедность городишек Верхней Ирландии, обитатели их умудряются в праздничные дни заменять свои ободранные рубища более нарядными или хоть менее рваными: мужчины облачаются в заплатанные кафтаны с бахромой на подоле; женщины надевают по несколько юбок, купленных в лавчонке старьевщика, а головы украшают шляпами из искусственных цветов, от которых остались лишь обмотанные проволоки.

Все идут до церкви босиком, чтобы не портить сапог, прорванных со всех сторон, по без которых никто не решился бы войти в церковь.

В этот час улицы Уестпорта были пусты; на них виден был лишь один человек, подталкивающий тележку, в которую была впряжена большая поджарая собака, рыжая, с черными пятнами, с изодранными о камни лапами, потертой о ремни шерстью.

– Королевские марионетки... марионетки! – кричал во все горло человек.

Он пришел из Кастельбара, главного местечка графства Майо. Направившись к западу, он пересек возвышенности, которые, как и большинство гор Ирландии, почти граничат с морем; на севере – цепь Нефина с ее верхушкой в две тысячи пятьсот футов и на юге Круг-Петрик, где великий ирландский святой – распространитель христианства в IV веке постился сорок дней. Затем спустился по опасным уступам Коннемара, достиг озер Маска и Коррилы, сливающихся с заливом Клу. Он не сел на Мидленд-Грет-Уестернский поезд, соединяющий Уестпорт с Дублином; он путешествовал попросту, крича всюду о своих марионетках и подбадривая ударами хлыста изнемогающую от усталости собаку. Иногда внутри тележки раздавался протяжный жалобный стон.

И при громком окрике на собаку:

– Да двигайся же, чертова тварь!.. казалось, что человек обращался еще к кому-то, спрятанному внутри тележки, крича:

– Замолчишь ли ты, собачий сын?..

Стон обрывался, и тележка катилась далее.

Человека этого зовут Торнпипп. Откуда он – безразлично. Но он происходил из тех англосаксонцев, которых более чем много среди низших классов населения Британских островов. У Торнпиппа сострадания было не более, чем у дикого зверя, и такое же сердце, как у скалы.

Достигнув Уестпорта, он медленно двинулся по главной улице, с довольно приличными домами, с лавками, которые были украшены броскими вывесками, но в которых мало что можно было приобрести. К улице примыкали со всех сторон отвратительнейшие канавки, напоминающие грязные ручьи. Тележка Торнпиппа, громяхая по неровной мостовой, раскачивала марионетки.

Торнпипп достиг площади, пересекающей улицу, засаженную двумя рядами вязов. Далее расстился парк с дорожками, усыпанными песком, старательно выхоленный, ведущий к открытому порту Клуского залива.

Нечего и говорить, что город, гавань, парк, улицы, река, мосты, дома – все принадлежит одному из богатейших местных лордов, владеющих почти всей Ирландией, маркизу Слиго, благороднейшей, чистейшей крови и доброму властелину своих подданных.

Торнпипп часто приостанавливался и оглядывался по сторонам, крича резким, точно несмазанное колесо, голосом:

– Марионетки, королевские марионетки!

Но никто не выходил из лавок, ни одна голова не показывалась из окон. Только кое-где из грязных переулков появлялись обтрепанные лохмотья, из которых выглядывали бледные, истощенные лица с красными ввалившимися глазами. Пять-шесть мальчиков, почти голых, решились подойти к тележке Торнпиппа, когда он остановился у площади. Все кричали в один голос:

– Коппер... Коппер!..

Так называется монета самой ничтожной стоимости, мельчайшая часть пенни. И нашли же они у кого просить, эти дети! У человека, который сам был болле склонен просить милостыню, чем подавать ее другим. Какие угрожающие жесты и свирепые взгляды получила от него в ответ детвора, со страхом прятавшаяся при виде его кнута и оскаленных зубов собаки, – настоящего дикого зверя, вечно обозленного от дурного обращения!

К тому же Торнпипп был вне себя. Его крик был гласом вопиющего в пустыне. Никто не спешил посмотреть на его марионеток. Педди – то есть ирландец, как Джон Буль – англичанин, Педди не выказывает ни малейшего любопытства. Это не должно означать, что он равнодушен к августейшему семейству королевы. Вовсе нет! Кого он, собственно, не любит, кого, можно сказать, даже ненавидит ненавистью, скопленной за целые века порабощения, так это лорда-владельца, который смотрит на него как на существо, стоящее ниже прежних холопов России. И если он признал О'Коннеля, так это потому, что этот великий патриот поддержал

права Ирландии, установленные актом соединения трех королевств в 1806 году, потому что позднее энергия, упорство и политическая отвага этого государственного человека добились билля эмансипации 1829 года и потому, что благодаря ему эта английская Польша, особенно Ирландия католическая, вступала в период мнимой свободы. Нам поэтому кажется, что так он поступил бы более разумнее, показывая своим согражданам О'Коннелю, хотя, конечно, это не могло служить поводом пренебрегать изображением всемилостивейшей королевы. Правда, Педди предпочел бы, и даже очень, изображение своей повелительницы в виде монет, фунтов, крон, полукрон, шиллингов, потому что именно в этом-то портрете британской чеканки и ощущается наибольший недостаток в карманах ирландца.

Так как ни один зритель не появлялся на усиленный зов Торнпиппа, тележка, в которую была запряжена измученная собака, покатила дальше. Теперь кругом никого не было. Они достигли парка, предоставленного маркизом Слиго в общественное пользование, через который всего скорее можно было дойти до порта, находящегося в доброй миле от города.

– Марионетка! Королевские марионетки!

Никто не отвечал, только птицы, пронзительно крича, разлетались по деревьям. Парк был пуст, как и площадь. Но зачем же в самом деле приходить в воскресенье и предлагать развлечения католикам в часы богослужения? Очевидно, Торнпипп был чужим в этой стране. Может быть, в послеобеденное время, между обедней и всенощной, его старания имели бы успех? Поэтому он ничем не рисковал, стремясь к порту, что и делал, ругаясь и призывая за отсутствием св. Петрика, всех чертей Ирландии.

Этот порт, несмотря на то, что он самый обширный и наиболее защищенный на этом побережье, очень мало оживлен. Если сюда и заходят несколько судов, то те лишь, которые привозят из Великобритании, то есть Англии и Шотландии, необходимые припасы, в которых нуждается Коннаут. Ирландия подобна ребенку, вскармливаемому двумя мамками, но молоко которых ему приходится дорого оплачивать.

Несколько матросов прогуливались, куря трубки, так как в праздник разгрузка судов не производилась.

Всем известно, как строго соблюдаются воскресные дни у англосаксонцев!

Протестанты непримиримы в своем пуританизме, а в Ирландии католики не уступают им в строгом соблюдении культа. А между тем их два миллиона с половиной при пятистах тысячах последователей различных сект англиканской религии.

Впрочем, в Уестпорте не показывался ни один чужеземный корабль. Бриги, галеты, шхуны да несколько рыбацких лодок стояли на мели, так как было время отлива. Суда эти, пришедшие с западных берегов Шотландии с запасами зерна, более всего недостающего Коннауту, должны были сразу после выгрузки отправиться обратно.

Очевидно, что Торнпиппу нечего было надеяться добыть несколько шиллингов из кошельков этих праздных матросов.

Тележка остановилась. Голодная, выбившаяся из сил собака растянулась на песке. Торнпипп вытащил из мешка кусок хлеба, несколько картофелин и селедку, за которые принялся с жадностью человека, давно не евшего.

Собака с высунутым, сухим от жары языком пощелкивала зубами, не спуская с него жадных глаз. Но так как, очевидно, час ее трапезы еще не настал, она кончила тем, что положила голову между вытянутыми лапами и закрыла глаза.

Легкое движение внутри тележки вывело Торнпиппа из апатии. Он встал и оглянулся, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает. И, приподняв ковер, прикрывавший коробку с куклами, просунул туда кусок хлеба, проговорив свирепым голосом:

– Замолчишь ты наконец?..

Ему ответил звук усердного жевания, точно внутри ящика находилось умирающее с голоду животное.



Торнпипп вскоре покончил с селедкой и картофелем, сваренными в одной воде – для лучшего вкуса. Затем он поднес ко рту грубую тыквенную бутылку, наполненную кислым напитком из молока, который так в ходу в этой стране.

В это время громко зазвонил церковный колокол, возвещая конец обедни.

Было половина двенадцатого.

Торнпипп ударом хлыста заставил встать собаку, и та потащила тележку к площади, где он надеялся заполучить несколько зрителей по выходе из церкви. Может быть, в это предобеденное время и удастся дать несколько представлений. Затем Торнпипп надеялся возобновить их после всенощной и уйти отсюда только на другое утро, чтобы показывать своих марионеток в других городках этой местности.

В сущности, мысль эта была недурна. За неимением шиллингов он сумеет удовольствоваться и копперами, по крайней мере марионетки не будут работать для того знаменитого короля Пруссии, скупость которого была настолько велика, что никто не мог сказать, какого цвета его деньги.

Снова на площади раздался громкий крик:

– Марионетки!.. Королевские марионетки!

Минуты через две-три вокруг Торнпиппа собралось человек двадцать. Нельзя сказать, чтобы это было лучшее общество Уестпорта. Подростки, с десятков женщин и несколько мужчин, державших в руках свою обувь, не столько из заботы сохранить ее, сколько по привычке обходиться без нее.

Впрочем, несколько горожан Уестпорта составляли исключение в этой глупой праздничной толпе. Например, булочник, остановившийся вместе с женой и детьми. Правда, его плащу было уже немало лет, а каждый год должен считаться за два в дождливом климате Ирландии, но все же он сохранил всю свою представительность. Да иначе и не могло быть, коль ему принадлежала булочная с великолепной вывеской: «Народная центральная булочная». И действительно, в ней сосредотачиваются все хлебные произведения, так как другой булочной нет в Уестпорте. Здесь стоял и москательщик, называвший себя аптекарем, несмотря на то, что в его лавке не было и самых обыкновенных лекарств; но вывеска, гласящая: «Medical Hall», выведена такими великолепными буквами, что один ее вид уже должен излечивать от болезней.

Следует упомянуть еще о священнике, остановившемся также у тележки Торнпиппа. Духовное лицо было одето удивительно чисто: шелковый воротник, белый жилет с частыми пуговицами и длинная черная ряса. Это глава всего прихода, в котором у него разнообразная деятельность. Священник не довольствуется тем, что крестит, венчает, исповедует и хоронит своих прихожан, он еще дает им советы, ухаживает в случае их болезни и ведет себя совершенно самостоятельно, так как ни в каком отношении не зависит от государства. Доходы с принадлежащей ему земли и вознаграждения за требы – то, что в других странах называется случайным доходом, – давали ему возможность вести вполне спокойную и обеспеченную жизнь. И хотя к тому же он был попечителем школ и приютов, это нисколько не мешало ему принимать деятельное участие в устройстве гонок и бегов, когда благодаря яхтам и стипльчезам весь приход его превращался в арену для праздничного торжества. К тому же он тесно связан с интимной жизнью своей пасты. Он уважаем, потому что всегда ведет себя с достоинством, даже и тогда, когда соглашается распить кружку пива. Нравственность его никогда не подвергалась никакому сомнению. Впрочем, неудивительно, что глава прихода имел такое громадное влияние в этих местностях, так сильно проникнутых католицизмом, в которых, по выражению Анны де Бове в ее замечательном произведении «Три месяца в Ирландии», страх быть лишенным причастия мог заставить крестьянина пролезть в игольное ушко.

Итак, у тележки собралась все-таки публика более доходная, если можно так выразиться, чем того ожидал Торнпипп. Можно было надеяться, что представление будет иметь успех, тем более что в Уестпорте оно являлось совершенной новинкой.

Поэтому ободренный Торнпипп снова закричал своим зычным голосом:  
– Марионетки... Королевские марионетки!

## Глава вторая. КОРОЛЕВСКИЕ МАРИОНЕТКИ

Тележка Торнпиппа была самого примитивного устройства: оглобли, в которые впряжена собака, четырехугольный ящик на двух колесах – для более легкого передвижения по ухабистой дороге, сзади две ручки, благодаря которым можно было ее катить вперед, как это делают странствующие торговцы; над ящиком на четырех железных прутьях было натянуто полотно, защищающее его не столько от редкого здесь солнца, сколько от продолжительных дождей. Это напоминало органчики с пронзительными флейтами и трубами, перевозимые на таких же тележках по городам и селам; но Торнпипп возил не орган, и звуки труб были заменены у него маленькой музыкальной шкатулкой.

Верх ящика закрыт на одну четверть. Когда крышка совершенно снята, зрителям, немало восхищенным, представляется следующая картина.

Впрочем, во избежание повторений мы предлагаем лучше послушать самого Торнпиппа, твердящего свои звучные фразы. Положительно, в красноречии он не уступил бы самому знаменитому Бриоше, основателю первого театра марионеток на ярмарочных площадях Франции.

– Леди и джентльмены...

Обращение, долженствующее вызывать наибольшую симпатию зрителей даже в том случае, если они состоят просто из деревенских оборванцев.

– Леди и джентльмены! Вы видите перед собой парадную залу королевского дворца в Осборнс, на острове Уайт.

И действительно, на дощечке, окруженной четырьмя стенами с разрисованными дверями и окнами, была изображена зала, в которой между расставленной мебелью самого изысканного вкуса красовались на большом ковре принцы, принцессы, маркизы, графы со своими высокопоставленными супругами.

– Вот там в глубине, – продолжал Торнпипп, вы видите трон королевы Виктории, а над ним красный бархатный балдахин с золотыми кистями; это точный снимок с того трона, на котором восседает Ее Королевское Величество в торжественные дни.

Трон, на который указывает Торнпипп, высотой всего в три дюйма, оклеен блестящей бумагой с золотыми запятыми вместо кистей, что не мешало ему дать полную иллюзию всем этим достойным зрителям, никогда не видавшим «монархической мебели».

– На троне, – продолжал Торнпипп, – вы можете лицезреть саму королеву! За сходство я ручаюсь! Она одета в свое выходное платье, с королевской мантией на плечах, короной на голове и скипетром в руке.

Так как мы никогда не имели чести видеть властительницу Соединенного королевства, императрицу Индии в ее парадных апартаментах, то и не можем сказать, была ли эта кукла, изображавшая ее императорское величество, совершенно похожа на нее. Во всяком случае, если даже допустить, что она носит в эти дни на голове корону, то все же сомнительно, чтобы у нее в руке был скипетр, похожий на трезубец Нептуна. Самое лучшее поверить на слово Торнпиппу, что, конечно, и делали зрители.

– Я позволю себе обратить ваше внимание на находящихся справа от королевы, – объявил Торнпипп, – их королевских высочеств, принца и принцессу Уэльских, совершенно таких же, какими вы их видели в их последний приезд в Ирландию.

Действительно, ошибиться нет возможности, это принц Уэльский, в мундире фельдмаршала британской армии, и дочь короля Датского, одетая в великолепное кружевное платье, вырезанное из той же серебряной бумаги, которой обыкновенно покрывают коробки с шоколадными конфетами.

– По другую сторону мы видим герцога Эдинбургского, герцога Коннаутского, герцога Файфского, принца Баттенбергского, принцесс – их жен, наконец, всю королевскую семью,

расположенную полукругом перед тронем. Нечего и говорить, что все эти куклы – за сходство их я опять-таки ручаюсь, – в их нарядах, с их позами и оживленными лицами дают верное понятие об английском дворе.

Затем следовали важные сановники и между ними знаменитый адмирал сэра Джорджа Гамильтона. Торнпипп указывает на них концом своей палочки, прибавляя при этом, что каждый из них занимает место, предназначенное его положением и придворным этикетом.

Вот тут, застыв в почтительной позе перед тронем, стоит господин высокого роста, несомненно, англосаксонского происхождения, который не может быть никем иным, как одним из министров королевы.

Это действительно управляющий Сен-Джеймским кабинетом, легко узнаваемый по его спине, согбенной под тяжестью работы. Торнпипп продолжает:

– А направо от первого министра – уважаемый господин Гладстон.

И правда, трудно было бы не узнать знаменитого «old man», этого красавца старика, всегда прямого, всегда готового защищать либеральные идеи против гнета власти.

Может быть, следовало удивляться, что он смотрит с такой симпатией на первого министра, но ведь между марионетками, хотя и политическими, многое прощается, и то, что было бы противно людям, созданным из мяса и костей, вполне безразлично для кукол, сделанных из дерева и картона.

Впрочем, вот и еще одно удивительное обстоятельство, являющееся каким-то необычайным анахронизмом, так как Торнпипп выкрикивает вдруг громким голосом:

– Представляю вам, леди и джентльмены, вашего знаменитого соотечественника О'Конелля, имя которого найдет всегда отклик в сердце ирландца!

Да, О'Конелль находился тут же, в 1875 году, хотя прошло уже двадцать пять лет со дня его смерти. Если бы кто-нибудь сделал по этому поводу замечание Торнпиппу, тот, конечно, ответил бы, что для сынов Ирландии этот великий агитатор всегда жив. Он таким же образом мог бы представить Парнелля, хотя этот политический деятель был еще совершенно неизвестен в те времена.

Затем расставлены и другие придворные, имен которых мы не помним, но все раскрашенные орденами и лентами, политические и военные знаменитости, и между ними его светлость герцог Кембриджский рядом с покойным лордом Веллингтоном, и покойный лорд Пальмерстоу около покойного Пихта; наконец, члены верхней палаты вперемежку с членами нижней палаты; за ними ряд конной гвардии в парадной форме, верхом посреди залы, что ясно указывало на то, что это был необычайный выход, который можно весьма редко увидеть в Осборнском дворце. Все вместе составляло около пятидесяти маленьких человечков, ярко раскрашенных, изображавших с великим апломбом весь цвет аристократии, самое изысканное военное и политическое общество Соединенного королевства.

Даже флот не был забыт; и если королевские яхты «Виктория» и «Альберт» не находились тут же, готовые к отплытию, то они, во всяком случае, были изображены на стеклах окон, что должно было напоминать о рейде Спитхед. При хорошем зрении, конечно, можно было бы различить яхту, на которой находились лорды и адмиралы с подзорными трубами в одной руке и рупорами в другой.

Надо согласиться, что Торнпипп несколько не обманул публику, сказав, что его представление единственное в мире. Положительно, благодаря ему можно было не ездить на остров Уайт. Оттого-то все и поражены – не только мальчишки, смотрящие на это чудо, но даже зрители почтенного возраста, никогда не выезжавшие из Коннаута и окрестностей Уестпорта. Только священник немножко улыбается про себя; что же касается аптекаря-москательщика, то он уверяет, что все лица так похожи, что ошибиться невозможно, хотя сам он их никогда не видел. Булочник признался, что это превосходило всякое воображение и что ему с трудом верилось, что при английском дворе столько пышности, роскоши и изящества.

– Но, леди и джентльмены, это еще не все, – продолжал Торнпипп. – Вы думаете, что все эти высокопоставленные лица не могут двигаться?.. Ошибаетесь! Они живые, такие же живые, как мы с вами, и вы это сейчас увидите! Но раньше я позволю себе обойти всех присутствующих, надеясь на их щедрость.

Настает критический момент для всех этих демонстраторов редкостей – момент, когда их шапка начинает обходить ряды зрителей. Как и везде, зрители подобных представлений делятся на две категории: на тех, которые вовремя уходят, чтобы не платить, и на тех, которые хотят позабавиться даром, и этих последних гораздо больше. Есть, правда, и третья категория, состоящая из людей платящих, но она так ничтожна, что о ней и говорить не стоит. И все это ясно обнаружилось, когда Торнпипп сделал свой маленький обход, с улыбкой, которой он старался придать любезность, но которая тем не менее выражала злобу. Да и могло ли быть иначе, коль его лицо напоминало бульдога, а злые глаза и рот готовы были скорее кусать людей, чем целовать их?..

Понятно, что у оборванной толпы, не двинувшейся с места, не нашлось бы для него и двух копперов. Что касается тех зрителей, которые, увлекшись его красноречием, хотели остаться, но не намерены были платить, то они преспокойно от него отворачивались. Только пять или шесть человек кинули несколько мелких монет, что и составило сумму в один шиллинг и три пенса, – сумму, которую Торнпипп принял с презрительной гримасой... Что вы хотите? Приходилось довольствоваться этим в ожидании послеобеденного представления, обещающего быть выгоднее, и во всяком случае лучше уж было дать представление, чем возвращать деньги.

И тогда немой восторг зрителей разразился вдруг шумными аплодисментами. Руки усердно хлопали, ноги стучали, рты выкрикивали такие громкие «о! о!», которые, наверное, доносились до самого порта.

В это время Торнпипп ударил по ящику своей палочкой, после чего послышался жалобный стон, никем, однако, не замеченный. И вдруг каким-то чудом вся сцена оживилась.

Марионетки, движимые внутренним механизмом, точно ожили. Ее величество королева Виктория не сошла со своего трона, что было бы против этикета. Она даже не встала, но двигает головой, кивая своей короной, и опускает скипетр, точно дирижер, выбивающий такт. Что касается королевской семьи, то все члены ее быстро поворачиваются, раскланиваясь на все стороны, тогда как герцоги, маркизы, баронеты почтительно проходят мимо. Первый министр раскланивается перед господином Гладстоном, который в свою очередь отдает ему поклон. Важно двигается О'Конелль, за ним следует герцог Кембриджский, выделяющийся какое-то характерное па. Затем идут все остальные лица, и лошади конной гвардии машут гривой и скачут, точно находятся не в зале Осборнского дворца, а в его манеже.

И вся эта карусель движется под дребезжащие звуки музыкальной шкатулки, которой недоставало несколько диезов и бемолей.

И, конечно, Педди, такой чувствительный к музыке, что Генрих VIII украсил даже арфой герб Зеленого Ириана, не мог остаться спокойным при этих звуках, хотя он предпочел бы услышать вместо меланхолических гимнов, составляющих национальные песни Соединенного королевства, какую-нибудь песенку их дорогой Ирландии.

Все это было на самом деле очень мило, и кто никогда не был в настоящих европейских театрах, того, понятно, это могло привести в восторг. И всеми овладело неопишное воодушевление при виде этих движущихся кукол.

Вдруг от какой-то неисправности в механизме королева так поспешно махнула скипетром, что попала им по круглой спине первого министра. Тогда неопишмый восторг зрителей выразился громкими криками одобрения.

– Они живые! – сказал один.

– Недостает только, чтобы они заговорили, – сказал другой.

– Об этом лучше не сожалеть! – прибавил аптекарь, становившийся всегда демократом в минуты восторга.

И он был прав. Что бы было, если бы эти марионетки вдруг вздумали произнести несколько официальных речей!

– Хотелось бы мне знать, что заставляет их двигаться? – проговорил тогда булочник.

– Да кто же, как не черт! – заметил старый матрос.

– Конечно, черт! – закричали в один голос несколько убежденных матрон и торопливо перекрестились, глядя на священника, стоявшего в задумчивой позе.

– Да как же черт может поместиться в таком ящике? – заметил молодой приказчик, отличавшийся наивностью. – Ведь черт-то большой!

– Так он не внутри сидит, а где-нибудь тут, – сказала старая кумушка. – И показывает нам все представление.

– Нет, – ответил важно москательщик, – ведь вы сами знаете, что черт не умеет говорить по-ирландски!

Да, это одна из истин, в которых Педди вполне уверен. Торнпипп, несомненно, не был чертом, так как выражался на чистейшем ирландском наречии.

Однако, если здесь не было колдовства, то оставалось допустить, что все эти человечки двигались благодаря какому-нибудь внутреннему механизму. Но никто не видел, чтобы Торнпипп заводил пружину. В то же время была одна особенность, не ускользнувшая от внимания священника: как только движения замедлялись, сильный удар хлыста по ковру, покрывавшему низ тележки, приводил всех в прежнее оживление. Кому же предназначался удар хлыста, сопровождаемый всегда стоном?

Священнику захотелось узнать это, и он спросил у Торнпиппа:

– У вас в ящике, верно, собака?

Торнпипп посмотрел на него, нахмурившись, находя его вопрос лишним.

– Что там есть, то и есть! – ответил он. Это мое дело... И я не обязан никому объяснять...

– Положим, вы не обязаны, – заметил священник, – но мы-то имеем право предполагать, что собака приводит в действие механизм.

– Ну да, собака! – сказал угрюмо Торнпипп. – Собака во вращающейся клетке... и сколько я употребил времени и терпения, чтобы ее выдрессировать! А велика ли выгода? Мне, наверное, не дадут и половины того, что платят священнику за обедню!

В ту минуту, когда Торнпипп произносил эти слова, механизм вдруг остановился, к великому огорчению публики. Когда же Торнпипп хотел уже закрыть ящик, говоря, что представление окончено, к нему обратился вдруг аптекарь со словами:

– Не согласитесь ли вы дать еще одно представление?

– Нет, – ответил грубо Торнпипп, видя устремленные со всех сторон подозрительные взгляды.

– Даже если бы вам предложили за него два шиллинга?

– Ни за два, ни за три! – вскричал Торнпипп.

Он теперь только и думал, как бы поскорее уйти, по публике вовсе не желала его отпускать. Однако по знаку хозяина собака собиралась уже тронуть тележку, когда вдруг из ящика раздался жалобный стон, сопровождаемый рыданиями.

Торнпипп вне себя повторил уже не раз пущенное им в ход ругательство:

– Да замолчишь ли ты, собачий сын!

– Там вовсе не собака! – воскликнул священник, удерживая тележку.

– Собака! – упрямо ответил Торнпипп.

– Нет! Это ребенок!..

– Ребенок, ребенок! – закричали все.

Какая перемена произошла теперь в зрителях! Любопытство сменилось чувством сострадания, выразившимся довольно бурно. Как! Внутри ящика находился ребенок, которого били хлыстом, когда он выбивался из сил и не мог больше двигаться в клетке!..

– Ребенок, ребенок! – закричали еще энергичнее.

Торнпиппу приходилось плохо. Он попробовал бороться, толкая сзади тележку... Но напрасно. Булочник схватил ее с одной стороны, москательщик с другой. Никогда ничего подобного не случалось при королевском дворе! Принцы чуть не раздавили принцесс, герцоги опрокинули маркизов, первый министр упал, вызвав падение всего министерства. Одним словом, произошло такое смятение, какое могло случиться в Осборнском дворце лишь в том случае, если бы остров Уайт подвергся землетрясению.

Торнпиппа очень скоро умилили, несмотря на то, что он отчаянно сопротивлялся. Все без исключения принимали в этом участие. Тележку обыскали, москательщик пролез между колесами и вытащил из ящика ребенка.

Да, малютка лет трех, бледный, тощий, болезненный, с ногами, изодранными кнутом, еле дышащий...

Никто не знал этого ребенка в Уестпорте.

Таков был выход Малыша, героя этой истории. Каким образом очутился он в руках злодея, который не был его отцом, – довольно трудно было узнать. На самом же деле малютка был подобран Торнпиппом девять месяцев тому назад на улице одной из деревень Дюпегалья, и вот к чему приспособил его этот варвар.

Одна из женщин взяла ребенка на руки и старалась привести его в чувство. Все теснились к нему. У ребенка было интересное, даже умненькое личико, у этой бедной белочки, принужденной вертеть клетку под ящиком, чтобы зарабатывать себе хлеб. Зарабатывать хлеб... в эти-то годы!

Наконец он раскрыл глаза и вздрогнул, увидав Торнпиппа, который подошел, крича злобным голосом:

– Отдайте его мне!..

– Разве вы отец его? – спросил священник.

– Да, – ответил Торнпипп.

– Нет, нет!.. это не мой папа! – закричал ребенок, уцепившись за женщину, державшую его на руках.

– Он вам не принадлежит! – вскричал москательщик.

Торнпипп, однако, продолжал стоять на своем. С искривившимся лицом и злобно сверкающими глазами, он уже не помнил себя и собирался разделаться «по-ирландски», то есть пырнуть ножом, но двое молодцов схватили его и обезоружили.

– Вон, гоните его вон! – кричали женщины.

– Убирайся, подлец! – сказал москательщик.

– И не смейте у нас больше показываться! – закричал священник с угрожающим жестом.

Торнпипп яростно хлестнул собаку, и тележка покатила обратно по главной улице Уестпорта.

– Негодяй! – сказал аптекарь. – Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, как он протанцует менуэт Кильменгама!

Протанцевать этот менуэт значило, по местному выражению, проплясать последний раз джигу на виселичной веревке.

Затем священник спросил ребенка, как его зовут.

– Малыш, – ответил тот довольно твердым голосом.

Действительно, другого имени у него не было.

## Глава третья. ШКОЛА-ПРИЮТ RAGGED SCHOOL

- А что у тринадцатого номера?
- Лихорадка.
- А у девятого?
- Коклюш.
- У семнадцатого?
- Тоже коклюш.
- А у двадцать третьего номера?
- Я думаю, что у него будет скарлатина.

И по мере того, как получались ответы, О'Бодкинс записывал их в книгу, имевшую замечательно аккуратный вид, на соответствующих строках, против ЭЭ 23, 17, 9 и 13. В книге была целая рубрика, в которую вписывались: названия болезней, час прихода доктора, прописанные им лекарства, условия, при которых должны были пользоваться ими больные. Имена были написаны готическими буквами, номера арабскими цифрами, лекарства красивым рондо, предписания обыкновенным английским почерком, что составляло в общем образец каллиграфического искусства и строгой отчетности.

– Несколько детей больны довольно серьезно, – заметил доктор. – Примите меры к тому, чтобы они не простудились во время переноски...

– Да, да!.. Будьте спокойны, – ответил небрежно О'Бодкинс. – Когда их здесь нет, то и мне нет до них никакого дела, лишь бы книги мои были в порядке...

– Если они и не выживут, – заметил доктор, беря свою шляпу и палку, то потеря, я думаю, будет невелика...

– Согласен, – ответил О'Бодкинс. – Я запишу их в столбец умерших, и счета с ними будут покончены, потому что раз итог подведен, то и жаловаться не на что.

И доктор ушел, пожав руку своему собеседнику.

О'Бодкинс был директором Ragged school в маленьком городке Галуде, расположенном на берегу залива, в местности того же названия, на юго-западе Коннаутской провинции. Это единственная провинция, в которой католикам разрешено иметь поземельные владения и в которой, как и в Мюнстере, английское правительство старается всячески притеснять ирландцев неангликанской церкви.

Всем известен этот тип оригиналов, к которому принадлежал О'Бодкинс и который не может быть назван приятным типом человеческого рода. Маленький, толстый, он был одним из тех холостяков, у которых никогда не было молодости и никогда не будет старости, людей, остающихся всегда теми, что они есть, украшенных никогда не седеющими волосами, точно уже родившихся с золотыми очками, которые следовало не снимать с них и в гробу, людей не знавших никогда ни жизненных невзгод, ни семейной заботы, имеющих сердца лишь постольку, поскольку это необходимо для существования и никогда не тревожимых ни любовью, ни дружбой, ни жалостью, ни симпатией. О'Бодкинс – одно из тех существ, которые ни добры и ни злы, проводят всю жизнь, не сделав ни одного доброго поступка, но и не причинив большого зла, и которые никогда не бывают несчастны – даже несчастьем других.

Таков был О'Бодкинс, и, мы должны сознаться, он подходил как нельзя более для должности директора школы, подобной Ragged school.

Ragged school – это школа оборванцев. О'Бодкинсу помогала старая курильщица тетка Крисе, вечно с трубкой во рту, да еще бывший пансионер школы, шестнадцатилетний Грин. Этот бедный малый с добрыми лицом и глазами, с немного вздернутым носом, характерной чертой ирландца, был гораздо лучше трех четвертей всех несчастных, собранных в этой школе-лазарете.



Оборванцы были по большей части или сироты, или дети, покинутые родителями, которых они не помнили, родившиеся среди грязи и греха, подобранные часто на улицах и дорогах, куда они, несомненно, вернутся в зрелом возрасте. Это поистине отбросы общества.

Какой нравственный упадок наблюдается среди этих детей, обещающих в будущем превратиться в уродов! Действительно, что порядочного могло произойти из случайного уличного посева?

В галуейской школе около тридцати детей в возрасте от трех лет до двенадцати, вечно в лохмотьях, вечно голодных, питающихся лишь объедками. Многие из них болели, как мы имели уже случай в том убедиться, и среди них наблюдался большой процент смертности, что, впрочем, не было большой потерей, если верить словам доктора.

И он прав, если никакие старания, никакие нравственные воздействия не могут помешать этим детям сделаться со временем негодяями. Но в этих некрасивых оболочках все же есть душа, и при ином воспитании, при самоотверженном уходе она, может быть, раскрылась бы для семян добра. Во всяком случае, для воспитания несчастных существ нужны были совсем другие руководители, чем такой манекен, как О'Бодкинс, тип, впрочем, весьма распространенный среди нуждающихся классов Ирландии.

Наш Малыш был в Ragged school моложе всех. Ему не было четырех с половиной лет. Бедный ребенок! Можно было бы смело выставить на его лбу надпись: неудачник. Перенести все то, что он перенес от Торнпиппа, изображая какую-то вращающуюся мельницу, освободиться от своего палача благодаря нескольким добрым душам, встретившимся в Уестпорте, и лишь для того, чтобы быть одним из учеников шлеуейской Ragged school! А когда он из нее выйдет, не будет ли тогда еще хуже?..

Конечно, это было весьма хорошее побуждение, под влиянием которого священник отнял несчастного ребенка у его мучителя. После долгих, тщетных розысков пришлось, однако, отказаться от надежды открыть происхождение ребенка. Тот помнил только одно: что жил у какой-то злой женщины, что была еще маленькая девочка, которая его иногда целовала, а другая девочка умерла... Где это было? Он не знал. Был ли он брошен родителями или его у них украли? Этого никто не мог сказать.

С тех пор как его подобрали в Уестпорте, он находил приют то в одном, то в другом доме. Имя Малыш так за ним и осталось. Где жил неделю, а где и две. Приход не был богат, и немало несчастных существовало за его счет; если бы в приходе был приют для бедных, то, конечно, малютка был бы помещен туда. Но никакого приюта не было, и его отправили в Ragged school.

Итак, Малыш находился уже девять месяцев на попечении старой, одуревшей Крисе, бедного, покорного судьбе Грива и О'Бодкинса, этой живой машины, регистрирующей приходы и расходы школы. И все же он сумел устоять против столь губительных влияний. Его имя еще не красовалось в большой директорской книге в рубриках: корь, скарлатина и другие детские болезни, – иначе счета с ним были бы уже давно сведены... и приведены к общему итогу – большой братской могиле, предназначенной галуейским оборванцам.

Но если относительно здоровья можно было не бояться за него, то нельзя было сказать того же о его нравственном развитии. Сможет ли он устоять, находясь в постоянном соприкосновении с этими «gogues», как говорят англичане, среди этих плутов, порочных до мозга костей, детей, которые происходят неизвестно откуда и родители которых были по большей части каторжники или даже казненные преступники? Между ними был даже один, мать которого «отсиживала» на острове Норфолк, в австралийских морях, а отец, приговоренный к смерти за убийство, окончил существование в Ньюгетской тюрьме от руки знаменитого палача Берри.

Этого мальчика звали Каркер. В двенадцать лет он казался уже предназначенным следовать по стопам родителей. Нет ничего удивительного, что среди этого ужасного сброда он пользовался авторитетом; будучи развращен сам, он развращал других, имел поклонников и

союзников, был всегда во главе самых злых, готовый на какую-нибудь мерзость, в ожидании «настоящих» преступлений, когда наконец школа выкинет его на большую дорогу.

Малыш питал к Каркеру непреодолимое отвращение, однако смотря на него с изумлением. Посудите сами, ведь он был сыном повешенного!

Школы эти вообще непохожи на современные учебные заведения, где даже воздух распределен с математическим расчетом по числу учеников. Здесь солома заменяет постель, которая не требует никаких забот, так как ее даже никогда не переворачивают. Что касается столовой, то к чему она, когда пищей служат только хлебные корки да картофель? Учебная часть находится в полном ведении О'Бодкинса. Он должен был учить чтению, письму и арифметике, но не нашлось бы и десятка из всех его учеников, которые, пробыв несколько лет в школе, были бы в состоянии прочесть вывеску. Малыш, хотя и был самым младшим, выделялся среди товарищей любовью к науке, за что на него сыпалось немало насмешек. Как грустно, и как велика общественная ответственность, когда ум, ищущий познаний, остается без образования! Почем знать, сколько теряется при бездействии молодого мозга, в который природа вложила, может быть, хорошие семена?..

Если ученики школы плохо работали головой, то это не означало, что руки их занимались честным трудом. Собрать где придется топливо на зиму, выпрашивать себе одежду у добрых людей, сгребать навоз, чтобы потом продавать его на фермы за несколько копеек, – занятие, особенно поощряемое О'Бодкинсом, рыться в отбросах на углах улиц, стараясь притом прийти раньше собак, а в случае и вести с ними отчаянную драку, – таковы были обыденные занятия детей. Игр, забав, не существовало, если не считать за удовольствие царапать, щипать, кусать и колотить друг друга ногами и кулаками, не говоря уж о злых проделках, которые подстраивались несчастному Грипу. Бедный малый относился ко всему довольно равнодушно, что побуждало Каркера и других приставать к нему и преследовать его с удивительной жестокостью.

Единственная чистая комната в школе принадлежала директору. Он, понятно, никого не впускал в нее. Но охотно предоставлял своим ученикам шлаться целыми днями по улицам и всегда с неудовольствием относился к их раннему, по его мнению, возвращению, объясняемому потребностью в пище или сне.

За свою сдержанность и хорошие задатки Малыш чаще всех подвергался насмешкам и грубостям Каркера и его друзей. Он старался не жаловаться. Ах, как жаль, что он не был силен! С каким наслаждением он ответил бы ударом на удар, заставил бы уважать себя, и какой злобой наполнялось его сердце от сознания своего бессилия!

Он реже всех выходил из школы, довольный, что мог отдохнуть в отсутствие крикливой ватаги. Он, может быть, оставался в проигрыше, так как лишился какого-нибудь огрызка, который мог быть им найден, или купленного на собранную милостыню куска черствого пирога. Но ему противно было просить подаяния, бегать за экипажами в надежде получить монету, а главное, таскать что-нибудь потихоньку с лотков. Нет, он предпочитал оставаться с Грипом.

– Ты никуда не идешь? – спрашивал тот.

– Нет, Грип.

– Каркер тебя прибьет, если ты ничего сегодня не принесешь!

– Пусть бьет.

Грип чувствовал расположение к Малышу и пользовался взаимностью. Будучи довольно неглупым, умея читать и писать, он учил ребенка всему, что знал сам.

К тому же Грип знал много интересных историй и умел презабавно их рассказывать.

Когда раздавались громкие взрывы его смеха, Малышу казалось, что мрачная темнота школы озарялась вдруг лучом света.

Что особенно его возмущало, так это злые шутки учеников по адресу бедного Грипа, который, как мы уже говорили, относился к ним с философским спокойствием.

– Грип!.. – говорил иногда Малыш.

- Чего тебе?
- Каркер очень злой?
- Конечно... злой.
- Отчего ты его не бьешь?..
- Бить?..
- Да, и других тоже?..
- Грип пожимал плечами.
- Разве ты не сильный, Грип?..
- Право, не знаю.
- Смотри, какие у тебя большие руки и ноги...
- Грип был действительно велик, но длинен и тощ, как проволока.
- Так почему же, Грип, ты не поколотишь его?
- Потому что не стоит!
- Ах! Если бы мне такие руки и ноги, как у тебя...
- Лучше всего пользоваться ими для работы.
- Ты думаешь?
- Конечно.
- Ну, так и будем работать!.. Попробуем... хочешь?..
- И Грип соглашался.

Иногда они вместе выходили из дома. Грип старался всегда брать с собой ребенка, когда ему приходилось идти по делу. Малыш был ужасно одет, на нем висели какие-то лохмотья: брюки порваны, куртка светилась насквозь, шапка без дна, ноги обуты в опорки с отвалившимися подошвами. Грип, правда, выглядел не лучше. Пара была вполне подходящая. В хорошую погоду еще сносно, но в Северной Ирландии хорошая погода такое же редкое явление, как хороший обед за столом Педди. И когда в дождь или в снег, с посиневшими лицами, красными от ветра глазами, промокшими насквозь лохмотьями, они бежали, держась за руки, у каждого прохожего должно было бы сжиматься сердце при виде их.

Они бегали таким образом по улицам Галуея, похожего на испанскую деревеньку, окруженные равнодушной толпой. Малышу очень хотелось знать, что делалось там, внутри домов. Но сквозь узкие окна и опущенные шторы нельзя было ничего различить. Они казались ему большими сундуками, наполненными деньгами. А гостиницы, куда приезжали путешественники в каретах? Как хороши должны были быть в них комнаты, особенно в «Royal Hotel»! Как хорошо было бы на них взглянуть! Но лакей прогнал бы их, как собак, или, что еще хуже, как нищих: собак ведь все же иногда ласкают!..

И когда они останавливались перед магазинами, должно признаться, скудными, вещи, красовавшиеся в окнах, казались им необычайно драгоценными. Какие взгляды бросали они то на выставленную одежду, то на сапоги, когда сами ходили чуть не босиком! Узнают ли они когда-нибудь удовольствие иметь платье, сшитое по их мерке, сапоги, сделанные по ноге? Нет, по всей вероятности, этот день никогда не наступит ни для них, ни для многих других несчастных, осужденных всю жизнь довольствоваться обносками в объедках.

Через окна мясных лавок они любовались на громадные туши, висящие на крюках, и которых хватило бы, чтобы кормить досыта в продолжение целого месяца всю Ragged school. При виде их у Грипа и Малыша невольно открывался рот, а мучительные спазмы сжимали желудок.

– Ну-ка, Малыш, – говорил шутливо Грип, поработай челюстями!.. Тебе будет казаться, что ты и вправду ешь!

Стоя перед булками и тому подобными печеньями, они чувствовали, что зубы их точно удлиняются, слюна наполняет рот, и Малыш, весь бледный, бормотал:

- Как это, должно быть, вкусно!

– И очень даже! – подтверждал Грип.

– Разве ты пробовал?

– Да, один раз.

– Ах! – вздыхал Малыш.

Он никогда ничего подобного не ел ни у Торнпиппа, ни, конечно, в Ragged school.

Раз одна дама, разжалобившись при виде его бледного личика, спросила, не хочет ли он съесть пирожок.

– Я предпочел бы булку, сударыня, – ответил он.

– Почему же так, дитя мое?

– Потому что она больше.

Однажды Грип, получив за выполненное поручение несколько пенсов, купил пирожное, которое было испечено не менее недели тому назад.

– Что, вкусно? – спросил он Малыша.

– О!.. Оно как будто сладкое!

– Я думаю, что сладкое, – смеялся Грип, – когда оно с сахаром!

Иногда Грип и Малыш ходили гулять к предместью Солтхилля, откуда открывался вид на весь залив, один из живописнейших в Ирландии: виднелись три Аранских острова, расположенных у самого входа, подобно трем конусам Вигского залива – опять сходство с Испанией, – а позади дикие Бурренские горы, Кларские и Могерские скалы. Затем возвращались опять к порту, на набережные, вдоль доков, начатых в то время, когда Галуей предназначался быть начальным пунктом атлантической линии, кратчайшей между Европой и Соединенными Штатами Америки.

Когда взор их останавливался на кораблях, стоящих в гавани, они чувствовали какое-то непреодолимое влечение к морю, которое – они были в том уверены – менее жестоко к бедным, чем земля, обещало лучшую жизнь среди простора своих вод, далеко от городской заразы; жизнь моряка могла сохранить здоровье ребенку и дать пропитание человеку.

– Как, должно быть, хорошо, Грип, плыть на таких кораблях... с их громадными парусами! – говорил Малыш.

– Если бы ты знал, как мне этого хочется, отвечал Грип.

– Так отчего же ты не сделался моряком?..

– Да, правда... Почему я не моряк?..

– Ты бы поехал далеко... далеко!

– А может быть, это когда-нибудь еще и будет! – мечтательно говорил Грип.

Во всяком случае, он пока еще не был моряком.

Галуейская гавань находится у самого устья реки, вытекающей из Луг-Корриба и впадающей в залив. На другом берегу, за мостом, деревенька Кледдег, с ее четырьмя тысячами жителей. Население состоит из рыбаков, которые пользовались долгое время общинной автономией и мэр которых значился в древних хартиях королем. Грип с Малышом доходили иногда до Кледдега. Как жалел тогда Малыш, что он не был одним из этих сильных, крепких мальчиков с загорелыми лицами; чего бы ни дал он, чтобы быть сыном одной из этих дюжих матерей, гальской крови, мужественных и грубых, как и их мужья. Да, он завидовал всем этим детям, здоровейшим и счастливейшим во всей Ирландии! Ему хотелось пойти к этим мальчикам, схватить их за руки... Но он не смел даже приблизиться к ним в своих лохмотьях: они, наверное, подумали бы, что он хочет просить у них милостыню. И он оставался в стороне, глядя на них глазами, полными слез; затем тихо уходил, чаще всего на рынок любоваться на блестящих скумбрий и селедок – единственную рыбу, попадающую в сети кледдегских рыбаков. Что касается до омаров и толстых крабов, которые кишат среди утесов залива, то Малыш, несмотря на все уверения Грипа, что они вкусны, как «пирожки с кремом», никак не мог этому поверить. Надо надеяться, что настанет наконец день, когда он сам в этом убедится.

Обойдя город, они по грязным, вонючим улицам возвращались в Ragged school. Шли среди развалин, которых много в Галуде и которые при первом же землетрясении рассыпались бы в прах. Это были недостроенные дома, заложенные и брошенные фундаменты, одиноко торчавшие треснувшие стены.

И все же ужаснее и отвратительнее всего в Галуде было вонючее здание, служившее приютом Малышу и Грипу, которые всегда замедляли, насколько возможно, свое возвращение в Ragged school.

## Глава четвертая. ПОГРЕБЕНИЕ ЧАЙКИ

Влача это печальное существование в кругу таких же, как он, оборвышей, Малыш не раз смутно вспоминал пережитое им до этого. Неудивительно, если счастливый, окруженный ласками и заботами ребенок отдается весь расцвету своего нежного возраста, не задумываясь о прошлом и не заботясь о будущем. Но у тех, прошлое которых представляет лишь страдание, все иначе. Будущее им кажется таким же безрадостным и мрачным; вперед ведь смотрится невольно глазами прошлого!

Какие же образы прошлого вставали перед глазами Малыша? Торнпипп, этот злой, бессердечный мучитель, которого он вечно боялся где-нибудь встретить и попасть снова в его руки... Затем старая злая ведьма, так с ним общавшаяся... В то же время смутное воспоминание о какой-то ласковой, нежной девочке, укачивающей его на своих коленях, смягчало горечь прошлого.

– Мне кажется, что ее звали Сисси, – сказал он однажды своему другу.

– Какое хорошенькое имя! – ответил Грип.

На самом же деле Грипп был убежден, что эта девочка существовала лишь в воображении мальчика, так как не удавалось добыть о ней никаких сведений. Но когда он говорил об этом Малышу, тот сердился. О, он мог ее узнать... И неужели ее никогда не встретит? Что теперь с нею? Продолжала ли еще жить у этой ведьмы? Она была кроткая, добрая, ласкала его, делилась с ним картофелем...

– Как мне всегда хотелось заступиться за нее, когда старуха ее била! – говорил Малыш.

– Я бы тоже охотно отколотил старуху! – отвечал Грип в угоду мальчику.

Впрочем, этот славный мальчик, никогда не защищавшийся, когда на него нападали, был всегда готов на защиту, что он уже не раз доказал по отношению к своему любимцу.

Однажды, в первые месяцы своего водворения в Ragged school, Малыш, прельщенный звоном колоколов, вошел в Галуейский собор. Надо признаться, что набрел на него совершенно случайно, так как тот был затерян среди грязных и узких улиц.

Ребенок стоял испуганный и пристыженный. Конечно, если сторож его заметит – оборванного, чуть не голого, то не позволит остаться в церкви. Но в то же время он был поражен и очарован пением, органом, видом священника у разукрашенного золотом алтаря и этими длинными свечами, зажженными среди белого дня.

Малыш помнил, что уестпортский священник говорил иногда о Боге, называя его отцом всех людей. Но помнил также, что Торнпипп произносил имя Божье лишь при самой отборной брани, и это теперь немало смущало его. Спрятавшись за выступ, он с таким же любопытством следил за службой, как смотрел бы на проходивших солдат. Затем, когда зазвонил колокольчик и все молящиеся набожно склонились, он ушел, никем не замеченный, – проскользнул как мышь.

Вернувшись из церкви, он никому не сказал, где был, даже Грину, который, впрочем, имел лишь весьма смутное представление о церковной службе. Однако посетив еще раз церковь и оставшись как-то один с Крисс, он решился спросить у нее, что значит Бог.

– Бог? – переспросила старуха, вращая страшными глазами среди удушливого дыма, вылетающего клубами из ее трубки.

– Да... Бог?..

– Бог, – ответила она, – это брат дьявола, к которому он отправляет всех непослушных детей, чтобы сжечь их в аду!

Услышав такой ответ, Малыш побледнел и, хотя ему страшно хотелось узнать, где находится ад с ужасным пламенем, не решился спросить об этом у Крисс.

Но он не переставал думать об этом. Бог, единственное занятие которого состояло, казалось, лишь в наказании детей, да еще таким ужасным образом, если верить Крисс.

Страшно озабоченный этим, он наконец решился поговорить с Грипом.

– Грин, – спросил он, – ты слышал когда-нибудь об аде?

– Да, слышал.

– Где он находится?

– Этого я не знаю.

– Но, скажи... если в нем сжигают злых детей, значит, и Каркера сожгут?

– Непременно... да еще на каком огне!

– А я... Грип... я не злой?..

– Ты-то?.. злой?.. Нет, нет!

– Меня, значит, не сожгут?

– Ни одного волоса не тронут!

– И тебя тоже нет?

– Меня тоже... наверное, нет!

Грип не преминул пошутить, говоря, что его и сжигать не стоит: он так худ, что сгорел бы как спичка.

Вот все, что узнал Малыш о Боге.

И все же, при всей своей наивности и простоте, он как-то смутно сознавал различие между добром и злом. Если ему не угрожала опасность наказания, предназначенного старухой, зато по правилам О'Бодкинса ему было его не миновать.

О'Бодкинс был им очень недоволен. Этот мальчишка доставлял одни лишь расходы... Небольшие, правда, но и доходов никаких! Другие хоть, выпрашивая милостыню или воруя, покрывали расходы по квартире и продовольствию, а он никогда ничего не приносил.

Однажды О'Бодкинс, устремив на него строгий взгляд, сделал по этому поводу резкое замечание.

Малыш с трудом удерживался от слез.

– Ты ничего не хочешь делать?.. – сурово спросил О'Бодкинс.

– Нет, я хочу, – ответил ребенок, – но я не знаю, что нужно делать.

– Что-нибудь, что оплачивало бы твое содержание!

– Я не знаю, каким образом мне это сделать.

– Провожая людей на улицах... предлагая исполнить их поручения...

– Я слишком мал, никто меня не хочет взять...

– Тогда можно рыться на свалках, в помойных ямах! Там можно всегда что-нибудь найти...

– Но на меня набрасываются собаки... и у меня нет сил, чтобы их прогнать.

– Вот как!.. А руки у тебя есть?..

– Есть.

– И ноги?.. – Да.

– Ну так бегай за экипажами и выпрашивай копперы.

– Выпрашивать деньги?!

Малыш даже привскочил, до того это предложение показалось обидным. И покраснел при мысли, что он будет просить милостыню.

– Я этого не могу, господин О'Бодкинс!

– А, не можешь!..

– Не могу!

– А можешь жить без пищи? Тоже не можешь?.. Ну, так я тебя предупреждаю, что заставлю это испытать, если не придумаешь способа добывать деньги!.. А теперь убирайся!

Добывать деньги... в четыре с половиной года! Правда, он их уже зарабатывал у владельца марионеток, да еще каким ужасным образом! Кто увидел бы его в эту минуту, забившегося в угол со скрещенными руками и опущенной головой, не мог бы не пожалеть ребенка. Какой обузой была жизнь для маленького создания!

Эти бедные малютки, когда они еще не совсем придавлены нищетой, страдают сильнейшим образом. Никто не вникал в их чувства и не может пожалеть их!

И после придираков О'Бодкинса Малышу еще приходилось выносить проделки школьных проказников. Они старались натолкнуть его на зло, не пренебрегая ни глупыми советами, ни колотушками.

Особенно старался Каркер, что объяснялось, конечно, его развращенностью.

– Ты не хочешь просить милостыню? – спросил он однажды.

– Нет, – ответил твердым голосом Малыш.

– Так нечего, дурак, и просить. Надо просто брать!

– Брать?..

– Ну да!.. Когда проходит хорошо одетый господин, у которого из кармана выглядывает носовой платок, надо подойти и легонько вытянуть платок.

– Оставь меня в покое, Каркер! – А иногда с платком попадается и кошелек.

– Но ведь это значит красть!

– И в кошельках у богатых людей лежат не копперы, а шиллинги, кроны и золотые монеты, которые и делятся потом между товарищами, болван ты этакий!

– Да, – подхватил другой, – и тогда, показав нос полицейскому, удирают.

– А если попадешь даже в тюрьму, так что ж из этого? Там не хуже, чем здесь, даже лучше. Дают хлеба и картофельного супа, которыми наедаешься досыта.

– Я не хочу... не хочу! – повторял ребенок, отбиваясь от негодяев, швырявших его как мячик.

Грип, вошедший в это время в комнату, поспешил вырвать его из рук расхаживших мальчишек.

– Оставьте вы его в покое?! – закричал он, сжимая кулаки.

На этот раз он действительно рассердился.

– Знаешь, – сказал он Каркеру, – я тебя нечасто бью, но уж если примусь, тогда...

Оставив свою жертву в покое, они проводили Малыша взглядами, которые ясно выражали, что за него снова примутся, как только Грипа не будет. А заодно при случае разделаются с ними обоими!

– Ты, наверно, Каркер, будешь сожжен! – проговорил Малыш не без соболезнования.

– Сожжен?..

– Да... в аду... если ты не перестанешь быть злым! Эти слова возбуждали насмешки шалунов. Но что вы хотите? Мысль о сожжении Каркера преследовала Малыша.

Все же теперь можно было опасаться, что заступничество Грипа не принесет ему счастья. Каркер и его приятели дали слово отомстить и Малышу, и его покровителю.

Собираясь в закоулках, самые отъявленные негодяи Ragged school совещались о чем-то, не предвещавшем ничего хорошего. Зато Грин усердно следил за Малышом, стараясь не покидать его надолго. Ночью он брал его к себе на чердак. Там, в этом жалком холодном помещении, Малыш был все же огражден от дурного обращения.

Однажды Грип пошел с ним на берег Солтхилля, где они иногда купались. Грип, умевший плавать, учил Малыша. Ах, с каким наслаждением он окунался в прозрачную воду: ведь по ней там, вдали, плавали красивые корабли, белые паруса которых исчезали постепенно за горизонтом!

Оба барахтались среди волн, с шумом ударявшихся о берег. Грип, держа ребенка за плечи, управлял его движениями.



Вдруг с берега раздались громкие крики, и появилась ватага оборванцев Ragged school. Их было человек двенадцать, самых отчаянных, с Каркером во главе.

Они кричали и безумствовали, преследуя чайку с раненым крылом, старавшуюся спастись от них. Может быть, ей это удалось бы, если бы Каркер не бросил в нее камень, который и задел птицу.

Малыш так вскрикнул, словно удар пришелся по нему.

– Бедная чайка... бедная чайка! – повторял он. Страшная злоба охватила Грипа, и он, вероятно, расправился бы с Каркером, если бы не Малыш, бросившийся вдруг на берег:

– Каркер, умоляю тебя, оставь чайку!

Но никто его не слушал. Все смеялись. И пустились преследовать чайку, которая, переваливаясь с ноги на ногу, старалась укрыться за скалой.

Напрасные старания!

– Подлые... подлые!.. – кричал Малыш. Каркер схватил чайку за крыло и, взмахнув ею, подбросил кверху. Она упала на песок. Ее подхватил другой и бросил на камни!

– Грип... Грип, – молил Малыш, – спаси ее!..

Но было уже поздно. Каркер в эту минуту раздавил каблуком голову птицы.

Снова раздался, общий смех, подхваченный восторженными криками «ура»!

Малыш был вне себя. Его охватила бешеная злость; не владея более собой, он схватил камень и бросил им в Каркера, попав ему прямо в грудь.

– А! Постой же, ты за это заплатишься! – закричал тот.

И прежде, чем Грип опомнился, Каркер схватил ребенка и потащил по берегу, награждая пинками. Затем, пользуясь тем, что его товарищи удерживали Грипа, он погрузил в воду голову Малыша, который рисковал захлебнуться. Высвободившись наконец из рук хулиганов, Грин кинулся к Каркеру, который при виде его поспешно убежал.

Волны увлекли бы с собой Малыша, если бы Грин не поспешил к нему на помощь и не вытащил его, почти потерявшего сознание, на берег.

После усердных растираний ему удалось наконец поставить Малыша на ноги.

– Идем, идем! – сказал он.

Но Малыш направился к скалам. Увидав раздавленную чайку, встал перед нею на колени и, вырыв яму в песке, похоронил птицу.

Не был ли он сам лишь бедной, покинутой птицей... подобно этой несчастной чайке!

## Глава пятая. ОПЯТЬ RAGGED SCHOOL

Возвратясь в школу, Грип счел нужным обратить внимание О'Бодкинса на поведение Каркера и других. Не упоминая обо всех неприятностях, которые ему приходилось терпеть от них, он рассказал главным образом о дурном обращении и преследовании Малыша. На этот раз они дошли до того, что, не вмешайся он, ребенок погиб бы в море.

О'Бодкинс покачал головой. Ведь это, черт возьми, нарушает его отчетность! Не мог же он вписать в свою книгу отдельную графу для подсчета подзатыльников, а другую для ударов каблуком! Это все равно что складывать три гвоздя с пятью шляпами! Конечно, как директору О'Бодкинсу следовало бы обратить внимание на поведение своих подопечных, но так как он занимался в основном подсчетами, то и отпустил Грипа ни с чем.

С этого дня Грип решил не терять из виду своего любимца, никогда не оставлять его одного в большой зале, а уходя из дома, запирает в своем чердачном помещении, где ребенок был по крайней мере в безопасности.

Прошли последние летние месяцы. Настал сентябрь. Для северной области это уже зима, а зима в Верхней Ирландии – это непрерывный снег, буря, ветер, туманы, несомые к Европе атлантическими ветрами с ледяных равнин Северной Америки.

Суровое, трудное время для прибрежных жителей Галуея! Какие короткие дни и бесконечные ночи приходится переживать тем, у которых в очаге ни угольев, ни торфа. Не удивляйтесь поэтому, что во всей Ragged school, исключая, впрочем, комнаты О'Бодкинса, температура была очень низкой. Ведь чернила перестали бы быть жидкими, если бы О'Бодкинс не сидел в тепле. Ведь все его подсчеты замерзли бы, не будучи оконченными!

Это было, конечно, самое подходящее время ходить собирать по улицам все, что могло служить топливом. Печальный источник, надо сознаться, когда приходится довольствоваться сучьями, обвалившимися с деревьев, мусором, сваленным у порогов домов, да крошками угля в порту на месте выгрузки. Ребятишки с необычайным рвением занимались этой вынужденной жатвой.

Малыш тоже участвовал в этой трудной работе и каждый день приносил в дом немного топлива. Это ведь не милостыню просить! И худо ли, хорошо ли, а очаг теплится, распространяя удушливый запах гари. Школьники, продрогшие в своих лохмотьях, теснились у огня, – большие, конечно, поближе, в ожидании ужина, медленно закипавшего в кастрюле. Но что за ужин!.. Корки хлеба, полусгнивший картофель, кости с ничтожными следами мяса – отвратительный суп, в котором вместо бульонного жира плавали пятна сала.

Нечего и говорить, что Малышу никогда не было места у огня и на его долю не оставалось этой горячей жидкости, именуемой супом и раздаваемой старухой лишь самым большим. Они набрасывались на него, как голодные собаки, готовые из-за него кусаться.

К счастью, Грип уводил всегда Малыша в свою конуру, где делился с ним своей порцией. У него, понятно, никогда не теплится очаг, но, забравшись под солому и прижавшись друг к другу, им все же удавалось согреться и заснуть, а сон ведь лучше всего греет – так надо полагать по крайней мере.

Однажды Грипу удивительно посчастливилось. Он шел по главной улице Галуея, когда к нему подошел путешественник, направлявшийся в «Royal Hotel», и попросил его отнести письмо на почту. Грип исполнил поручение, за что получил новенький блестящий шиллинг. Конечно, это не представляло большого капитала, который можно было бы обратить в процентные бумаги! Нет, но он мог удовлетворить аппетит и Малыша, и свой. Он купил различной колбасы, которой хватило им на три дня и которой они лакомились потихоньку от Каркера и других школьников. Понятно, что Грип не намеревался делиться с теми, кто никогда не делился с ним.

Но что было особенно удачно в этой встрече Грипа с приезжим – это то, что достойный джентльмен, заметив его лохмотья, отдал ему свою шерстяную фуфайку, бывшую еще в прекрасном состоянии.

Но не думайте, что Грип оставил ее себе! Нет, он помышлял только о Малыше и радовался при мысли о том, как ему будет в ней тепло.

– Он будет в ней, как овца в шерсти! – говорил себе добрый малый.

К тому же джентльмен был так толст, что его фуфайка обошла бы два раза вокруг тела Грипа, а по длине укутала бы Малыша с головы до ног. Итак, выгадывая в длину и ширину, можно было приспособить ее для обоих. Просить старую пьяницу Крису перешить фуфайку было бы, конечно, равносильно тому, чтобы заставить ее отказаться от ее трубки. Поэтому Грип, запершись на своем чердаке, принялся за работу. Вскоре смастерил для Малыша прекрасную шерстяную куртку. Себе же сделал жилет, а это уже что-нибудь да значило!

Нечего и говорить, что куртка надевалась Малышом под лохмотья, чтобы никто не подозревал о ее существовании. Иначе одежду скорее обратили бы в клочья, чем оставили ему.

После продолжительных октябрьских дождей ноябрь разразился ледяным ветром. Улицы Галуея покрылись толстым слоем снега. Все страшно мерзли в Ragged school, и очаг, как и желудок, который тоже ведь очаг, сильно нуждались в топливе.

Оборванцам приходилось, несмотря на снежные заносы и ледяные ветры, разыскивать на улицах и дорогах все необходимое для школы. Теперь оставалось только ходить от дверей к дверям. Приход делал для бедных все, что мог, но ему приходилось помогать слишком многим и кроме школы.

Дети выпрашивали милостыню у каждого дома и лишь иногда встречали довольно радушный прием: чаще они вызывали только озлобление, и их грубо выпроваживали, посылая вслед угрозы. Приходилось поневоле возвращаться с пустыми руками.

Малыш принужден был следовать примеру остальных. Но, когда он останавливался перед домом и ударял молотком, ему всегда казалось, что удар этот больно отдается в груди. И вместо того чтобы протянуть руку и просить подавание, он спрашивал, не нужно ли исполнить какое-нибудь поручение. Поручение пятилетнему-то ребенку! Всем известно, что это значит, и в ответ ему иногда выбрасывали кусок хлеба, который он и брал со слезами на глазах. Что поделаешь, когда мучит голод!..

В декабре стало очень холодно и сыро. Снег шел все время большими хлопьями. В три часа дня приходилось зажигать газ, но желтоватый свет рожков не проникал сквозь густой слой тумана. Нигде ни экипажей, ни тележек. Лишь изредка какой-нибудь прохожий спешил к своему дому. Малыш с красными от ветра глазами, с оледенелыми лицом и руками бежал, стараясь потеснее завернуться в покрытые снегом лохмотья.

Наконец тяжелая зима кончилась. Первые месяцы 1877 года были менее суровы. Лето настало довольно раннее, и с июня началась сильная жара.

Семнадцатого августа Малышу, которому было в то время пять с половиной лет, удалось набрести на находку, имевшую самые неожиданные последствия.

В половине восьмого вечера он шел по переулку, ведущему к Кледдегскому мосту, и направлялся в Ragged school – поиски еды за весь день у него не увенчались успехом. Если у Грипа не окажутся припрятанными корки хлеба, им придется обойтись без ужина. Такое случалось, впрочем, нередко, и рассчитывать есть ежедневно, да еще в назначенный час, было бы излишней роскошью. Что так делается у богатых, ничего не значит – средства им это позволяют.

«Но бедняк ест, когда может, а когда не может, то и совсем не ест!» – говорил Грип, привыкший утешаться философскими изречениями.

Шагах в двухстах от школы Малыш вдруг споткнулся и растянулся во всю длину. Нет, он не ушибся, но, падая, увидел какой-то предмет, о который, очевидно, и споткнулся и который

теперь покати́лся вперед. Это была толстая бутылка, к счастью, не разбившаяся, иначе он мог бы сильно порезаться.

Ребенок, встав, начал оглядываться и нашел скоро бутылку, она была закупорена простой пробкой, которую, конечно, нетрудно было вынуть, что Малыш и сделал. Ему показалось, что бутылка была наполнена спиртом.

Значит, на этот раз можно было быть уверенным в хорошей встрече по возвращении в школу.

На улице не было ни души, никто не мог его заметить, а до школы оставалось не более двухсот шагов!

Но тут у него мелькнула мысль, которая, пожалуй, никогда не пришла бы в голову ни Каркеру, ни другим школьникам. Эта бутылка ему, Малышу, не принадлежала! Она не была ни подаянием, ни выброшенным по негодности предметом, а была кем-то потеряна. Конечно, ее владельца не так легко найти, но, во всяком случае, совесть не позволяла Малышу считать ее своей. Он сознавал это инстинктивно, так как никогда ни Торнпипп, ни О'Бодкинс не разъясняли ему, что значит быть честным. Но есть, к счастью, детские сердца, в которых понятия о честности зарождаются сами по себе.

Малыш, не зная, что делать, как поступить со своей находкой, решил посоветоваться с Грипом. Тот уж сумеет вернуть ее по принадлежности. Главное затруднение состояло в том, чтобы пронести бутылку на чердак, не возбуждая внимания школьников, которые, конечно, и не подумают возвратить ее владельцу. Еще бы – водка!.. Ведь это не простая находка! За ночь в ней не останется и капли... Что же касается до Грипа, то в нем Малыш был уверен как в себе самом. Он не прикоснется к водке, спрячет бутылку в солому, а на другой день будет везде расспрашивать, чтобы узнать, чья она. Если понадобится, они будут ходить от дверей к дверям, наводя справки, так как это будет не выпрашивание милостыни. Малыш отправился домой, стараясь изо всех сил спрятать получше бутылку, которая все же порядочно выдавалась под его рубищем.

Но, как нарочно, когда он подошел к дверям приюта, вдруг выбежал Каркер и чуть не сшиб его с ног. Узнав Малыша и видя, что он один, Каркер схватил его, намереваясь отплатить ему за вмешательство Грипа на солтхилльском берегу.

Почувствовав бутылку под его лохмотьями, он грубо вырвал ее у него.

– А это что? – вскричал он.

– Это!.. Это не твое!

– Так твое, значит?

– Нет... и не мое!

И Малыш хотел оттолкнуть Каркера, который одним ударом отбросил его далеко от себя. Завладев бутылкой, Каркер пошел обратно в школу, куда, плача, последовал и Малыш.

Он попробовал было оспаривать бутылку, но сколько на него посыпалось пинков, ударов! Некоторые даже кусали его. Даже старая Крисс вмешалась, как только заметила, что это была водка.

– Водка, – вскричала она, – прекраснейшая водка, которой хватит на всех!..

Положительно было бы лучше, если бы Малыш оставил бутылку на улице, где владелец, может быть, уже разыскивал ее, так как такое количество водки стоило несколько шиллингов, если не полкроны. Ему следовало самому догадаться, что пройти незамеченным на чердак к Грипу невозможно. А теперь уже поздно!

Обратиться за помощью к О'Бодкинсу и поведать ему все случившееся не имело смысла; тот ведь все равно не оторвется от своих счетов. Вернее всего, он приказал бы принести к себе бутылку, а что раз попадало в его кабинет, уже никогда не возвращалось.

Малышу ничего не оставалось, как отправиться на чердак к Грину и рассказать ему все.

– Грип, – спросил он, – ведь найденную бутылку нельзя считать своей?..

– По-моему, нет... – ответил Грип. – А ты разве нашел бутылку?

– Да... Я намеревался отдать ее тебе, а завтра мы бы навели справки...

– Кому она принадлежит?... – досказал Грип.

– Да, и, может быть, поискав хорошенько...

– И они у тебя ее отняли?..

– Да, это Каркер!.. Я не хотел отдавать, но все против меня... Если бы ты сошел вниз, Грин?..

– Я сейчас пойду, и мы увидим, кому она достанется, твоя бутылка!..

Но когда Грип хотел отворить дверь, она оказалась запертой снаружи.

Несмотря на всю его силу, дверь не поддавалась, к великой радости всей шайки, кричавшей снизу:

– Эй, Грип!..

– Эй, Малыш!..

– За ваше здоровье!

Грип, видя невозможность открыть дверь, постарался утешить сильно огорченного ребенка.

– Ну, что там, оставим этих животных в покое.

– О, как жаль, что мы так слабы!

– Что за беда!.. Вот покушай лучше картофелину, которую я для тебя припрятал...

– Я не голоден, Грип!

– Все равно поешь, а потом будем спать.

Это было, конечно, самым лучшим из всего, что они могли сделать после такого скудного ужина.

Каркер закрыл дверь на чердак, оттого что не хотел, чтобы кто-нибудь помешал ему. Заперев Грипа, можно было спокойно наслаждаться водкой, потому что Крисс, принимая сама в этом участие, конечно, уже не будет мешать им.

И вот все уже разлито по чашкам. Сколько крику, шуму! Школьникам много ли нужно, чтобы опьянеть, исключая, впрочем, Каркера, привыкшего уже к спиртным напиткам.

Бутылка не была еще опорожнена и до половины, хотя Крисс усердно помогала детям, как все были пьяны. И все же ужасный шум и крик не обратили на себя внимание О'Бодкинса. Не все ли ему равно, что происходит там, внизу? Сам ведь он был наверху со своими папками и книгами. Трубный глас, возвещающий конец мира, и тот не смог бы отвлечь его внимания.

А между тем ему предстояло вскоре быть грубо оторванным от своего стола, не без ущерба, разумеется, для отчетности.

Выпив половину бутылки, большинство школьников повалилось на солому, где они не замедлили бы захрапеть, если бы Каркеру не пришла вдруг мысль устроить жженку.

Вместо рому можно налить водку, зажечь ее и пить горячей! Таково было предложение Каркера, одобренное восхищенной Крисс и несколькими державшимися еще на ногах школьниками.

Водку налили в кастрюлю – единственную посуду, имевшуюся в распоряжении Крисе, и Каркер ее поджег.

Как только из кастрюли показалось голубоватое пламя, оборванцы, едва державшиеся на ногах, принялись радостно кружиться. Если бы кто-нибудь прошел в это время по улице, он, очевидно, подумал бы, что целый легион чертей справлял в приюте свой шабаш. Но эта часть города была совершенно пустынна в такой поздний час.

Вдруг дом изнутри ярко осветился. Кто-то задел кастрюлю, из которой горячая жидкость плеснула на солому. В одну минуту все было охвачено огнем, точно воспламенившись от рассыпавшейся во все стороны ракеты. Все, кто валялся на полу и кто даже спал, повскакали, едва успев выбежать на улицу, увлекая с собой и старую Крисс.

Грип и Малыш же тщетно искали выхода из чердака, наполнявшегося едким дымом. Впрочем, пожар был уже замечен. Соседи спешили с ведрами и лестницами.

Ragged school стоял уединенно, и ветер не угрожал занести искры на другие постройки. Отстоять эту старую рухлядь было едва ли возможно, но надо было спасти ее обитателей, окруженных пламенем.

Но вот распахнулось окно в комнате О'Бодкинса, и сам он появился в нем, страшно перепуганный, с взъерошенными от ужаса волосами.

Не подумайте, чтобы его пугала участь, постигшая его воспитанников. Он и о себе не думал в эту минуту.

– Книги мои... Книги! – кричал он, ломая в отчаянии руки.

И, попробовав спуститься по лестнице, ступени которой уже лизали огненные языки, он кинулся к окну, решив выбросить в него свои книги и папки. Ватага школьников, стремительно бросившись, раздавила, разодрала все, пуская вырванные листки по ветру, в то время как О'Бодкинс решился наконец спуститься по лестнице, приставленной к стене с улицы.

Но что удалось ему, то было невозможно для Грина и Малыша. Чердак освещался лишь узеньким окошечком, и внутренняя лестница была в огне, трещала и разваливалась. Стены уже прогорели, и искры, сыпавшиеся дождем на соломенную крышу, грозили превратить скоро весь Ragged school в груды золы.

Вдруг среди шума и треска раздались отчаянные крики Грипа.

– Разве на чердаке кто-нибудь есть? – тревожно спросил голос недавно прибывшего на пожар зрителя. Он принадлежал даме, одетой по-дорожному. Оставив карету на углу улицы, она прибежала сюда, сопровождаемая горничной.

Катастрофа разыгрывалась так стремительно, что не было возможности в ней разобраться. Поэтому, когда удалось спасти директора, все думали, что в доме уже никого не осталось, и огню было предоставлено кончать свое дело.

– Спасайте... спасайте тех, кто остался! – закричала путешественница... – Скорее, давайте лестницы и спасайте их!

Но как приставить лестницы к этим стенам, готовым ежеминутно рухнуть? Как добраться до чердака, который весь окутан дымом и крыша которого походила на горящий стог сена?

– Кто у вас там, на чердаке? – спросила тревожно дама у О'Бодкинса, занятого собиранием уцелевших листов.

– Кто?... Я не знаю... – ответил растерявшийся директор, думая лишь о собственном несчастье.

Наконец он вспомнил:

– Ах!.., да... двое: Грип и Малыш...

– Несчастные! – закричала дама. – Мое золото, мои драгоценности, все, все тому, кто их спасет!

Но проникнуть в школу было уже невозможно. Внутри все шипело, трещало, разваливалось. Еще несколько минут – и под напором ветра Ragged school рухнет, а на его месте останется лишь пылающий костер.

Вдруг в крыше показался пролом у самого окошка. Это Грип с невероятными усилиями проломал отверстие в крыше в ту минуту, когда пол уже трещал под ним. Выбравшись с большим трудом на крышу, он вытащил туда полузадохнувшегося ребенка. Добравшись до наружной стены, Грип закричал, держа на руках Малыша:

– Спасите... спасите его!

И бросил ребенка на улицу, где его, к счастью, подхватил стоявший внизу человек.

Грип, едва живой, соскользнул вниз по балке, рухнувшей на землю вслед за ним.

Путешественница, подойдя к человеку, державшему на руках Малыша, спросила дрожащим от волнения голосом:

- Чье это невинное создание?
- Он ничей!.. Это найденыш, – ответил человек.
- В таком случае он мой... мой!.. – закричала она, взяв его на руки и прижимая к груди.
- Сударыня... – заметила горничная.
- Молчи... Элиза... молчи!.. Это ангел, посланный мне с неба!

Так как у этого ангела не было ни родителей, ни родственников, то, конечно, самое лучшее было отдать его этой прекрасной даме с великодушным сердцем, что и было исполнено при громких криках «ура», в то время как разваливались последние остатки Ragged school.

## Глава шестая. ЛИМЕРИК

Кто была эта великодушная женщина, появившаяся вдруг так мелодраматически? Ее поведение, полное сценических эффектов, было все же так искренне, что никто не удивился бы, если бы она, пожертвовав жизнью, сама бросилась в пламя для спасения несчастной жертвы. Будь этот ребенок ее собственным, она не прижимала бы его к груди с большей любовью, унося его в карету. Напрасно горничная предлагала ей избавиться от драгоценной ноши... Никогда... никогда!

– Нет, Элиза! – повторяла она дрожащим голосом. – Он мой... Небо дало мне возможность спасти его из-под горящих обломков... Благодарю, благодарю Тебя, Боже!.. Ах, милочка, милочка!

Малютка дышал с трудом, широко открыв рот, с закрытыми глазами. Ему нужен был воздух, простор: чуть не задохнувшись от дыма, он рисковал теперь быть задушенным порывистыми ласками своей спасительницы.

– На станцию, – приказала она кучеру, садясь в карету. – На станцию!.. Ты получишь гинею, если мы не опоздаем на поезд в девять сорок семь!

Кучер не мог остаться равнодушным к такому обещанию и пустил клячу вскачь.

Но кто же была, наконец, эта загадочная путешественница? Может быть, Малышу посчастливилось наконец попасть в такие руки, которые его уже никогда не покинут?

Мисс Анна Уестон была примадонной драматического театра Дрюри-Лена, второй Сарой Бернар, и играла в настоящее время в Лимерике, в провинции Мюнстера. Она уже несколько дней путешествовала в сопровождении своей горничной, почти подруги, ворчливой, но преданной ей сухой Элизы Корбетт.

Прекрасная женщина, эта актриса, очень любимая публикой, вечно играющая роль, даже за кулисами, всегда готовая отозваться, когда дело касалось чувств, с открытой душой, она в то же время относилась очень серьезно ко всему, что касалось искусства, неумолимая к случайностям и неловкостям, могущим подорвать ее славу.

Мисс Анна Уестон, приобретшая известность в Англии, ждала лишь подходящего случая стяжать лавры в Америке, в Индии, в Австралии, то есть всюду, где был распространен английский язык, так как она была слишком горда, чтобы изображать из себя куклу перед не понимающей ее публикой.

Желая отдохнуть от непрерывного утомления, испытываемого ею после исполнения современных драм, в которых ей приходилось неизменно умирать в последнем действии, она приехала подышать свежим, живительным воздухом на берег Галуея, где и жила в продолжение трех дней. В этот же вечер она направлялась на поезд, возвращаясь в Лимерик, где должна была играть на следующий день, как вдруг крики ужаса и сильное зарево привлекли ее внимание. Это горел Ragged school.

Пожар?.. Как устоять перед желанием увидеть «настоящий» пожар, так мало похожий на пожары, изображаемые на сцене? По ее приказанию и несмотря на возражения Элизы, карета остановилась в конце улицы, и мисс Анна Уестон стала свидетельницей всех перипетий этого страшного зрелища, столь отличного от искусственного, на который дежурные пожарные смотрят, снисходительно улыбаясь. На этот раз валились уже не декорации, а здание, разрушаемое настоящим огнем. Все было как в хорошо обдуманной пьесе.

Два человеческих существа заперты на чердаке, лестница которого объята огнем... Два мальчика, один большой, другой совсем маленький... Пожалуй, было бы лучше, если бы это была девочка... Затем крик мисс Анны Уестон... Она не замедлила бы броситься в огонь, не будь на ней надет длинный плащ, который дал бы новую пищу огню... Вот развалилась крыша чердака. Среди пламени появились вдруг двое несчастных: большой, держа на руках малень-



кого... О, этот большой, какой герой, какая выдержанная поза!.. Сколько уверенности в движениях, сколько правдивости в выражении!.. Бедный Грип! Он и не подозревал, какой эффект он произвел... А другой!.. «The nice boy!.. The nice boy!» «Очаровательный малютка! – повторяла мисс Анна. – Он похож на ангела, реющего в пламени ада!..» Говоря правду, Малышу пришлось в первый раз в жизни быть сравниваемым с херувимом и вообще небесным созданием.

Да, вся ситуация была схвачена и прочувствована великодушной мисс Анной Уестон до мельчайших подробностей. Она вскричала как на сцене: «Мое золото, драгоценности – все, все, все тому, кто их спасет!» Но никто не мог отважиться на это... Наконец херувим был сброшен в подхватившие его руки, а с них перешел уже в объятия мисс Уестон...

Теперь у Малыша была мать, и толпа была даже уверена, что эта важная дама узнала в нем своего сына, погибавшего среди пламени.

Раскланявшись с шумно приветствовавшей ее толпой, мисс Уестон удалилась, унося с собой свое сокровище и не обращая внимания на увещевания горничной. Что ж удивительного? Нельзя требовать, чтобы двадцатидевятилетняя актриса, пылкая, с ярко-золотистыми волосами, голосом, полным драматизма, могла бы так же сдерживать свои чувства, как Элиза Корбетт, тридцатисемилетняя блондинка, холодная и бесцветная, прислуживавшая уже много лет своей взбалмошной госпоже. Правда, актрисе всегда казалось, что она исполняет одну из пьес своего репертуара. Для нее самые обыденные обстоятельства казались сценическими положениями, и тогда ничто уже не могло удержать ее...

Нечего и говорить, что они приехали вовремя на станцию, и кучер получил обещанную гиней. Сидя теперь с Элизой в отдельном купе первого класса, мисс Уестон могла дать волю своим чувствам.

– Этот ребенок мой!.. Моя кровь... моя жизнь! – повторяла она. – Никто его у меня не отнимет!

Говоря между нами, кто бы вздумал отнимать у нее этого брошенного, никому не нужного ребенка?

А Элиза говорила себе: «Увидим, долго ли это продлится!»

Поезд в это время тихо подвигался к соединительной ветви, пересекая Галуейскую область и направляясь к столице Ирландии. В продолжение этого недолгого переезда Малыш не приходил в себя, несмотря на нежные заботы и пылкие фразы актрисы.

Мисс Уестон позаботилась прежде всего, чтобы раздеть его. Освободив от прокопченных лохмотьев и оставив на ребенке только шерстяную фуфайку, бывшую еще довольно сносной, она надела на него вместо рубашки одну из своих кофточек, хранившихся в саквояже, затем суконный лиф и накрыла пледом. Но ребенок, казалось, не замечал, что его так нежно прижимали к сердцу, еще более теплomu, чем одежда, в которую он теперь был завернут.

Наконец, достигнув соединительной линии, часть поезда была отцеплена и направлена на Килькри, находящийся на границе Галуейской области, где остановка продолжалась целых полчаса. Малыш между тем все еще не приходил в себя.

– Элиза, Элиза, – вскричала мисс Уестон, – надо узнать, нет ли в поезде доктора!

Элиза хотя и уверяла, что это было совершенно излишне, отправилась все же отыскивать доктора. Доктора, однако, не оказалось.

– Ах, эти уроды! – восклицала мисс Анна. – Никогда-то их нет, когда они нужны!

– Но, сударыня, ведь с мальчишкой ничего особенного не случилось!.. Если вы его не задушите, то он очнется.

– Ты так думаешь, Элиза?.. Милый малютка!.. Но что ж ты хочешь!.. Я ничего не знаю, ведь у меня никогда не было детей!.. Ах, если бы я могла накормить его своей грудью!

Но это было невозможно, и к тому же Малыш был в том возрасте, когда требуется уже более солидная пища. Мисс Анне Уестон не приходилось поэтому слишком огорчаться своей неспособностью быть кормилицей.

Поезд проходил через Кларское графство, составляющее полуостров, который было бы легко обратить в остров, прорыв канал миль в тридцать у основания гор Слайв Сегти. Ночь была темная, погода пасмурная, с порывистым западным ветром.

– Он все не приходит в себя, бедный ангел! – продолжала тревожиться мисс Анна.

– Хотите я вам скажу, в чем дело, сударыня?..

– Скажи, ради Бога, скажи, Элиза!..

– Мне кажется, что он спит!

Это было совершенно верно.

Проехали Дромор, Эннис, главный город этой местности, куда поезд прибыл к полуночи, затем Клар, Ньюмаркет, потом Сикс-Майльс, наконец, границу, и в пять часов утра поезд подошел к Лимерикской станции.

Не только Малыш проспал всю дорогу, но и сама мисс Уестон кончила тем, что заснула, и, когда проснулась, увидела, что ее маленький приемыш смотрел на нее широко открытыми глазами.

И она принялась целовать его, повторяя:

– Он жив... жив! Господь, пославший его мне, слишком милосерд, чтобы снова отнять его у меня.

Элиза не могла с этим не согласиться, и вот каким образом Малыш перешел почти непосредственно с чердака Ragged school в роскошное помещение мисс Анны Уестон в «Royal George Hotel».

Графство Лимерик сыграло немалую роль в истории Ирландии, так как оно положило начало сопротивлению католиков, восставших против протестантской Англии. Его главный город, не убоившись самого грозного Кромвеля, выдержал жестокую осаду и, сломленный голодом и болезнями, утопая в крови казней, принужден был уступить. Был подписан договор, названный его именем и обеспечивший ирландским католикам права гражданства и свободы вероисповедания. Правда, все эти распоряжения были потом жестоко попорчены Вильгельмом Оранским. После долгих, суровых испытаний пришлось снова взяться за оружие; но несмотря на отвагу и помощь, оказанную им Французской республикой, ирландцы, сражавшиеся, по собственному выражению, «с веревкой на шее», были разбиты в Баллинамах.

В 1829 году права католиков были снова восстановлены благодаря О'Коннелю, поднявшему знамя независимости и добившемуся или, вернее, потребовавшему билля освобождения у великобританского правительства.

И так как место действия романа – Ирландия, то да будет нам позволено напомнить о тех памятных фразах, брошенных тогда в лицо государственным деятелям Англии. Они глубоко запечатлелись в сердцах ирландцев, и влияние их заметно в некоторых эпизодах этого рассказа.

– Никогда еще правительство не было столь недостойным! – вскричал однажды О'Коннель. – Стенли Виг – ренегат; сэр Джеймс Грэм – нечто еще худшее, сэр Роберт Пиль – всецветный флаг, да еще и цвета-то какие-то неопределенные – сегодня желтый, завтра зеленый, послезавтра флаг ни того, ни другого цвета; но надо опасаться, как бы он не окрасился кровью!.. Что же касается бедняги Веллингтона, то ничего не могло быть глупее, как преподнести его Англии. Не доказал ли историк Алисен, что он попался впросак при Ватерлоо? К счастью для него, он обладал отважным войском, у него были солдаты-ирландцы. Ирландцы оставались верны Б, рауншвейгскому дому, хотя он был против них, были верны Георгу III, который изменял им, верны Георгу IV, который выходил из себя от злости, даруя им независимость, верны старику Вильгельму, при котором министерство разразилось беспощадной кровавой речью про-

тив Ирландии, верны, наконец, и самой королеве! Итак, англичанам – Англия, шотландцам – Шотландия, а ирландцам – Ирландия!

Достойные слова!.. Вскоре мы убедимся, насколько сбылось желание О'Коннеля и действительно ли Ирландия принадлежит ирландцам.

Лимерик – один из главных городов Изумрудного острова, хотя и перешел из третьего в четвертый разряд с тех пор, как часть его промышленности отошла к Трали. В нем тридцать тысяч жителей. Его улицы широкие, прямые, проложены по-американски; его лавки, магазины, гостиницы, городские здания занимают обширные пространства. Но стоит перешагнуть Томонский мост, и вступаешь в часть города, оставшуюся вполне ирландской, со всеми ее развалинами, обвалившимися валами, площадью той «черной батареи», которую отважные женщины, подобные Жанне Хашет, защищали до последней капли крови против оранцев.

Ничто не производит такого грустного, удручающего впечатления, как эта быющая в глаза противоположность!

По своему расположению Лимерик несомненно предназначен быть важным промышленным и торговым центром. Шанон, «лазорева река», является для него таким же путем, как Клайд, Темза и Мерсей. Но если Лондон, Глазго и Ливерпуль извлекают пользу из своих рек, то Лимерик, к несчастью, не имеет от своей ни малейшей выгоды. Лишь небольшое количество барок оживляет ее ленивые воды, которые довольствуются омытием богатых кварталов города и заливают равнины с их обильными пастбищами. Ирландские эмигранты должны были бы забрать с собой в Америку Шапон, из которого американцы, наверное, сумели бы извлечь пользу.

Хотя промышленность Лимерика ограничивается выделыванием окороков, он все же милый город, в котором женская часть населения отличается замечательной красотой, – что, кстати, было легко заметить во время игры мисс Анны Уестон.

Все знают, что актрисы не особенно скрывают свою частную жизнь за высокими стенами. Они скорее предпочли бы поселиться в стеклянных домах, если бы архитекторы строили такие здания. Да и к чему мисс Анне Уестон скрывать то, что произошло в Галуе? На другой день после ее приезда во всех салонах Лимерика только и говорили, что о Ragged school. Распространился слух, что эта героиня стольких драм спасла маленькое создание, бросившись сама в пламя, – чего она, впрочем, и не отрицала. Может быть, она и сама этому верила, как случается с хвастунами, которые кончают тем, что сами верят тому, что сочинят. Зато было вполне достоверно, что она привезла в «Royal George Hotel» ребенка, которого хотела усыновить и которому решила дать имя, так как у него не было ровно никакого.

– Малыш, – ответил он, когда она спросила, как его зовут.

Ей это имя понравилось, да и чем оно было хуже какого-нибудь Эдуарда, Артура или Мортимера? К тому же она употребляла, обращаясь к нему, все уменьшительные от слова «baby», как это и делают обыкновенно в Англии.

Надо признаться, что герой наш пока ровно ничего не понимал и принимал все довольно равнодушно – и ласки, и поцелуи, которые ему расточали, красивые платья, модные ботинки, даже хорошую пищу, – а его кормили по-царски, – и сласти, которыми его закармливали.

Нечего и говорить, что друзья и подруги актрисы поспешили приехать к ней в «Royal George Hotel». А сколько она получила восторженных похвал, и как мило она их принимала! Снова и снова ей приходилось рассказывать про все случившееся в Ragged school. Слушая ее рассказ, можно было подумать, что огонь уничтожил весь Галуй и сравниться с ним мог бы только тот знаменитый пожар, который уничтожил большую часть столицы Соединенного королевства и памятником которому служит Fire Monument, воздвигнутый в нескольких шагах от Лондонского моста.

Ребенок присутствовал всегда на этих приемах, и мисс Анна Уестон умела обратить на него общее внимание. Но несмотря на все ласки и довольство, он все же вспоминал иногда, что был любим. Однажды он решился спросить:

– А где же Грип?

– Кто это Грип, мой бебиш? – спросила мисс Уестон.

И она узнала тогда от него, кто был этот Грип. Конечно, без него Малыш погиб бы в огне... Если бы Грип с опасностью для жизни не вытащил его из пламени, от него остался бы только обугленный трупик. Это было очень, очень хорошо со стороны Грипа, но все же его героизм нисколько не умалял заслуги мисс Уестон в спасении Малыша...

Если б эта чудная женщина не оказалась тогда на месте пожара, что бы теперь было с ребенком? Кому бы он достался? В какой вертеп попал бы он вместе со всеми оборванцами Ragged school?

Говоря по правде, никто и не узнавал о судьбе Грипа, никто его не знал и нисколько им не интересовался. Малыш, думали друзья актрисы, кончит, конечно, тем, что забудет его. Но они ошибались: образ того, кто его кормил и защищал, никогда не изгладится из его сердца.

А между тем сколько разнообразных развлечений выпало на долю приемыша! Он сопровождал мисс Уестон на прогулке, сидя на подушке рядом с нею в экипаже, проезжая по богатейшим кварталам Лимерика в часы, когда все элегантно общество могло их видеть. Редкий ребенок бывал более расфранчен, более разукрашен, более декоративно разряжен, если можно так выразиться. И какое разнообразие в его гардеробе! То он был шотландцем с пледом через плечо, то пажом в сером трико и ярко-красной обтягивающей куртке, то юнгой в широком матросском костюме и шапкой на затылке. Откровенно говоря, он заменял мопса хозяйке, ставшего злым и ворчливым. Если бы была возможность, она с удовольствием запихала бы ребенка в муфту, так, чтобы виднелась одна только завитая его головка. Они ездили иногда за город, в окрестности Килькре, с его знаменитыми утесами на берегу Клары, в Мильтау Мальбей, скалы которого разрушили значительную часть непобедимой Армады!.. Там Малыш привлекал общее внимание, называясь не иначе как «ангелом, спасенным из пламени».

Несколько раз его брали в театр. Надо было видеть его в роли великосветского беби, в свежих перчатках – он-то в перчатках! – сидящим в ложе под надзором строгой Элизы, боящегося шевельнуться и до самого конца представления усиленно борющегося со сном! Он мало понимал в том, что происходило на сцене, принимая все за действительность. И когда он видел мисс Уестон то королевой в диадеме и мантии, то простой женщиной в чепчике и переднике или даже нищей, одетой по-английски, ему трудно было узнать ее по возвращении в «Royal George Hotel». В голове его происходила страшная путаница; он не знал, что и думать. По ночам ему снились продолжения виденных им драм, превращавшихся вдруг в страшные кошмары, в которых появлялись хозяин марионеток, злой Каркер и другие негодяи школы! Он просыпался весь в поту, не смея никого позвать... Как тогда ему не хватало Грипа!

Известно, что ирландцы – поклонники всех родов спорта, в особенности же скачек. В эти дни все улицы, гостиницы Лимерика наводнены окрестными «gentry» – фермерами, побросавшими свои дела, и всевозможным людом, отложившим хоть шиллинг, чтобы поставить его на какую-нибудь лошадь.

Через две недели после своего приезда Малышу пришлось уже быть на подобном торжестве. И как же он был разодет! Его так разукрасили цветами, что он походил не на ребенка, а на букет, который мисс Уестон преподносила всем своим друзьям и поклонникам, заставляя их не только любоваться им, но почти и нюхать!

Но надо отдать ей справедливость, что, хотя она была эксцентрична, но в то же время добра и отзывчива, впрочем, с некоторой долей деланности. Если внимание, оказываемое ею ребенку, и было театрально, а поцелуи походили на поцелуи, расточаемые на сцене, то ведь

Малыш не мог заметить этого. Впрочем, он не чувствовал себя любимым так, как ему бы хотелось, и соглашался с тревогой Элизы, вечно твердившей:

– Увидим, долго ли это продлится!

## Глава седьмая. ПЕРЕМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ

Прошло таким образом шесть недель, в продолжение которых Малыш совершенно освоился с выпавшей на его долю хорошей жизнью. Удивляться этому, конечно, не приходится, ведь раз человек может привыкнуть к нищете, то несравненно легче привыкнуть к довольству. Мисс Анна Уестон, легко поддающаяся первому влечению, пожалуй, устанет наконец выказывать Малышу это чрезмерное внимание и ласку? Ведь чувства, подобно физическому телу, подчинены закону инерции. Когда сила более не поддерживает движения, оно прекращается. А если в сердце мисс Уестон есть пружина, то разве не может она в один прекрасный день забыть ее завести, как она почти никогда не заводит вовремя своих часов? Не был ли Малыш лишь ее мимолетным капризом, забавой, даже рекламой?.. Нет, потому что она была действительно добра... Продолжая о нем заботиться, она, правда, уделяла ему уже меньше внимания, но ведь актриса так занята, вечно поглощенная своим искусством, играя почти каждый вечер, что неудивительно, если она иногда и забывала приласкать его. В первые дни ей приносили ребенка по утрам и сажали к ней на постель. Она забавлялась с ним, разыгрывая «мамашу». По так как он мешал ей хорошо выспаться, а она имела обыкновение спать по утрам очень долго, то Малыш стал допускаться только к завтраку. Какое удовольствие видеть его рядом с собой, сидящим на высоком, специально для него купленном стуле.

– Вкусно?.. – спрашивала она.

– О, все это так вкусно, – ответил он однажды, – как может быть только в больнице, где дают больным такие вкусные кушанья!

Надо заметить, что хотя Малыша никто не обучал хорошим манерам, так как этого нельзя было ожидать ни от Торнпиппа, ни от О'Бодкинса; но он благодаря своей врожденной скромности, своему милому характеру всегда резко отличался от озорников Ragged school. Он был всегда выше своего положения, старше своих лет по выражаемым им чувствам и по поступкам. Несмотря на свою рассеянность, мисс Уестон не могла этого не заметить. Она знала о нем лишь то, что он был в состоянии рассказать ей, то есть свою жизнь со времени пребывания его у хозяина марионеток. Очевидно, он был покинутым ребенком, и мисс Уестон, находя в нем «врожденное благородство», не сомневалась, что он был сыном какой-нибудь знатной дамы, принужденной покинуть его при самых трагических обстоятельствах. И сейчас же воображение ее нарисовало целую драму, которая могла бы иметь громадный успех на сцене. Она, конечно, играла бы первую роль... Сколько бы слез она вызвала!.. Как она была бы хороша, какое бы произвела потрясающее впечатление... и т. д. и т. п. И взволнованная, вся трепещущая, она хватала Малыша, сжимая его в своих объятиях, воображая себя на сцене и слыша целую бурю рукоплесканий...

Как-то Малыш, смущенный ее ласками, спросил:

– Мисс Анна!..

– Что, милочка?

– Я хотел бы вас спросить...

– Говори, моя радость.

– Вы не будете меня бранить?

– Бранить? О нет, нет!

– У каждого ребенка есть мама, не правда ли?

– Да, мой ангел, у каждого есть своя мама.

– Почему же я не знаю своей мамы?

– Почему?.. Потому что... – не сразу ответила озадаченная мисс Уестон, – потому что на это есть причина... но когда-нибудь ты увидишь свою маму... О, я уверена, что ты ее увидишь!..

– Ведь вы не раз говорили, что она красивая, важная дама?..

– Да, да, очень красивая и знатная!

– Но почему же вы это знаете?..

– По твоему виду... по твоей наружности! Вот потешный малютка, вздумал о чем расспрашивать! Ведь это же необходимо для драмы... чтобы она была важная, красивая... Но ты этого не поймешь!..

– Да, я не понимаю! – ответил Малыш с грустным видом. – Мне иногда кажется, что моя мама умерла.

– Умерла?.. О нет!.. Этого не надо думать... Если бы она умерла, то драмы бы не было...

– Какой драмы?..

Мисс Анна Устон вместо ответа только поцеловала его.

– Но если она не умерла, – продолжал между тем Малыш с прямолинейной логикой, свойственной его возрасту, – и знатная дама, то зачем же она меня покинула?..

– Она была вынуждена это сделать, мой милый бебири!.. И против своей воли!.. Зато потом, в конце...

– Мисс Анна...

– Что?..

– А моя мама... это не вы?..

– Кто? Я?.. Твоя мама?..

– Ведь вы же называете меня своим ребенком!

– Это всегда говорят так с детьми твоего возраста, мой херувимчик!.. Бедняжка, он вообразил... Нет, я не твоя мама!.. Если бы ты был моим сыном, я бы тебя никогда не бросила... Нет, нет!

И мисс Анна снова расцеловала Малыша, который ушел от нее совсем грустный.

Бедный ребенок! Кому бы он ни принадлежал, богатым ли родителям или несчастным беднякам, он одинаково рискует никогда не увидеть их, как это и бывает обыкновенно со всеми детьми, найденными на улице!

Беря на попечение ребенка, мисс Устон мало думала о принимаемых ее на себя обязанностях относительно его будущего. И то, что ему надо дать образование, сделать из него человека, пока не заботило ее, так как он был еще слишком мал: ведь ему было только пять с половиной лет. Но в чем она была твердо уверена, так это в том, что она его никогда не покинет. Конечно, он не может всегда ездить вместе с ней из города в город, из одного театра в другой, в особенности когда она направится за границу. Тогда она поместит его в пансион... в очень хороший пансион! Но покинуть – никогда!

И она сказала однажды Элизе:

– Он все делается милее, не правда ли? И какой у него прелестный нрав! Его любовь вознаграждает меня за все, что я для него делаю!.. И какой он любознательный! По-моему, он гораздо умнее своих лет!.. Но как он мог вообразить себе, что я его мать!.. Бедный малютка... Как будто его мать могла быть такой, как я! Наверно, она была женщина серьезная... степенная... А все же, Элиза, нам следует с тобой подумать...

– О чем, сударыня? – Да что из него сделать?

– Что сделать... теперь?..

– Нет, не сейчас... Он пусть себе растет, как деревцо!.. А вот впоследствии, когда ему будет лет семь или восемь?.. Кажется, в эти годы детей посылают в школу?

Элиза собиралась ответить, что мальчишке уже нечего привыкать к пансионской жизни после того, как он побывал в Ragged school. Его следует отправить в более подходящее заведение, но мисс Анна не дала ей высказаться:

– Как ты думаешь, Элиза?..

– О чем, сударыня?

– Будет ли наш херувим любить театр?  
– Он-то?..  
– Да ты присмотрись к нему!.. Он будет, кажется, красив... У него чудные глаза... благородная осанка... О, уж теперь заметно, что он будет восхитительным первым любовником.  
– Та-та-та! Вот вы и поехали!..  
– Я научу его играть на сцене... Ученик мисс Анны Уестон! Как это хорошо будет звучать.  
– Через пятнадцать лет.  
– Так что ж, пусть и через пятнадцать лет! А все же он будет тогда прелестным молодым человеком, и все женщины...

– ...будут вам завидовать! – договорила Элиза. – Знаем мы это! А по-моему, так вот что, сударыня.

– Что, Элиза?  
– Этот ребенок никогда не согласится быть актером.  
– Почему?  
– Потому что он слишком серьезен для этого.  
– Ты, пожалуй, права! – согласилась мисс Уестон. – Впрочем, увидим потом.  
– Времени на это еще много, сударыня! Действительно, времени оставалось еще много, и если бы, вопреки мнению Элизы, Малыш оказался способным играть на сцене, то все должно было кончиться к общему благополучию.

Пока же мисс Уестон явилась удивительная мысль, мысль, только и могущая зародиться в такой голове, как у нее, а именно – она решила, что Малыш должен в ближайшем времени выступить на лимерикской сцене.

Ему выступить на сцене!.. Поистине, только такая взбалмошная женщина, какой была эта звезда современной сцены, способна была выдумать подобную несообразность.

– Впрочем, почему же несообразность?.. Пожалуй, даже мысль ее была на этот раз вполне удачна.

Мисс Уестон разучивала в ту пору одну из тех захватывающих пьес, каких немало в английском репертуаре. Драма или, вернее, мелодрама «Терзания матери» извлекла уже из глаз целого поколения столько слез, что с успехом бы можно было заполнить ими реки Соединенного королевства. В ней была роль для ребенка, покинутого по необходимости матерью, которого она потом находит в самой ужасной нищете.

Роль эта была, конечно, немой. Ребенок, исполнявший ее, должен был только подчиняться ласкам, объятиям, давать себя теребить во все стороны, но не произносить ни одного слова.

Наш герой как нельзя более подходил к этой роли и ростом, и все еще бледным личиком, и глазами, столь привыкшими лить слезы. Каково будет впечатление, когда он появится на сцене, да еще рядом со своей приемной матерью! С каким увлечением, каким пылом проведет она пятое явление в третьем акте, ту сцену, когда у нее хотят отнять сына! Ведь изображаемое на сцене будет почти действительностью. Ее ужас и страх потерять ребенка будут почти реальны! Очевидно, успех в этой драме превзойдет всю прежнюю славу.

Вскоре Малыша повели на репетиции. Он был удивлен всем увиденным и услышанным. И хотя мисс Уестон, исполняя роль, называла его «своим малюткой», но не плакала, прижимая его к своему сердцу. И действительно, к чему плакать на всех репетициях? Не портить же себе понапрасну глаза! Достаточно, если будет плакать перед зрителями.

Мальчик чувствовал себя смущенным. Он был совсем подавлен видом темных кулис, громадной пустой залы с едва пробивавшимся в нее светом через маленькие окошечки в конце амфитеатра, темной и унылой, точно в доме покойника. Однако Сиб – в пьесе он назывался Сибом – делал все, что от него требовали, и мисс Уестон не замедлила предсказать, что он будет иметь громадный успех и она тоже, разумеется.



Может быть, ее уверенность была многими неразделяема? У актрисы не было недостатка в завистниках и завистницах между «добрыми друзьями». Она не раз оскорбляла их самолюбие своими капризами, нисколько, впрочем, не подозревая этого. Теперь же она говорила направо и налево, что этот ребенок под ее руководством прославится когда-нибудь Кином и Мекреди и в других ролях современной драмы!.. Действительно, это превышало уж всякую меру.

Наконец настал день первого представления. Это было в четверг, 19 октября. Понятно, что мисс Уестон была в очень нервном настроении. Она то хватала Сиба, целовала его, нервно сжимая, то раздражалась и прогоняла его.

Нечего удивляться, что Лимерикский театр вечером был переполнен публикой. Этому немало способствовала и афиша:

### **К гастролям «мисс Анны Уестон»**

**Представлено будет:**

**«ТЕРЗАНИЯ МАТЕРИ»**

**Драма знаменитого Фурпилля**

**Мисс Анна Уестон исполнит роль герцогини Кендальской;**

**роль Сиба будет**

**исполнена Малышом,**

**ребенком пяти лет и девяти месяцев от роду и т. д.**

Малыш был бы, наверно, очень доволен, если бы прочел афишу; он ведь умел читать, а тут его имя выступало большими черными буквами на белом фоне!

Но вместо радости его в уборной мисс Уестон ожидала печаль.

До сих пор он не репетировал «в костюме», как выражаются за кулисами, и выходил на сцену в своем красивом платье, в котором он и теперь приехал в театр. И вдруг в уборной, где лежал приготовленный дорогой туалет герцогини Кендальской, он увидел лохмотья, в которые Элиза собиралась его одеть. Дело в том, что в этой драме мать находит покинутого ею ребенка нищим, в лохмотьях, тогда как сама она важная герцогиня, разодетая в шелк, бархат и кружева.

Увидев лохмотья, Малыш решил, что его хотят отослать снова в Ragged school.

– Мисс Анна... мисс Анна! – вскричал он.

– Что с тобой? – спросила мисс Уестон.

– Не прогоняйте меня!..

– Да кто же тебя прогоняет?.. Что ты выдумал?..

– Но эта ужасная одежда.

– Вот что!.. Он вообразил...

– Да нет же, дурачок!.. Стой смирно! – строго сказала Элиза, одевая его довольно грубо.

– Ах, бедный херувим! – вскричала растроганная мисс Уестон, подводя слегка себе брови тоненькой кисточкой. – Бедный ангел... – продолжала она, накладывая на щеки румяна. – Если бы в зале это знали! Впрочем, они и будут это знать, Элиза... Завтра же это будет напечатано в газетах... Ведь вообразил же он себе!..

И она провела пуховкой по своим открытым плечам.

– Да нет же... нет... глупый бебиш! Это только шутка...

– Шутка, мисс Анна?..

– Ну да, и плакать не надо!

Она сама бы с удовольствием расплакалась, если бы не боялась размазать грим на лице. Элиза повторяла, качая головой:

– Вы теперь сами видите, сударыня, что нам никогда не удастся сделать из него актера!

В это время Малыш грустный, со слезами на глазах, смотрел на надеваемые на него лохмотья Сиба.

Тогда мисс Уестон вздумалось подарить ему совсем новую гинеею. «Пусть это будет его первым гонораром», – сказала она. И ребенок, живо утешившись, с удовольствием полюбовавшись на золотую монету, спрятал ее в карман.

Затем мисс Анна, приласкав его в последний раз, пошла на сцену, наказав Элизе не выпускать ребенка из уборной до третьего действия, в котором он должен был появиться.

Все места в театре были заняты, несмотря на то, что пьеса далеко не была новинкой. Она выдержала более тысячи представлений на разных сценах Соединенного королевства, как это часто бывает с произведениями хотя и посредственными, но полными реализма.

Первое действие прошло прекрасно. Восторженные рукоплескания были вполне заслуженной наградой мисс Уестон, увлекшей зрителей своим блестящим талантом и страстностью игры.

После первого акта герцогиня Кендальская вернулась в уборную, к великому удивлению Сиба, сняла свой богатый туалет из шелка и бархата и надела платье простой служанки – перемена, вызванная особыми соображениями драматурга, на которых нам не стоит останавливаться.

Малыш, сбитый с толку, испуганный, с удивлением смотрел на странное превращение.

Вскоре послышался голос помощника режиссера, голос, заставивший его вздрогнуть, и «служанка», сделав ему знак рукой, сказала:

– Подожди, беби... скоро твоя очередь. И ушла на сцену.

Служанка имела такой же успех, как герцогиня в первом акте, и занавес опустился среди еще более шумных аплодисментов.

Положительно, «добрым подругам» мисс Уестон не представлялось возможности доставить ей ни малейшего неудовольствия.

Она вернулась в уборную и, усталая, опустилась на диван, приберегая силы для следующего, третьего действия. На этот раз опять перемена костюма. Теперь это более уж не служанка, это дама, одетая в глубокий траур, немного постаревшая, так как между вторым и третьим актом проходит пять лет.

Малыш с широко раскрытыми глазами совсем застыл в своем углу, не смея ни шевельнуться, ни дышать. Мисс Уестон, сильно взволнованная, почти не обратила на него внимания.

Она обратилась к нему, когда уже была совсем готова.

– Знаешь, Малыш, – сказала она, – скоро твоя очередь.

– Моя, мисс Анна?..

– И не забудь же, что тебя зовут Сиб.

– Сиб?.. Да, да!

– Элиза, повторяй ему все время, что его зовут Сибом, пока ты не сведешь его вниз к режиссеру.

– Слушаю, сударыня.

– А главное, чтобы он не опоздал. К тому же ты знаешь, – погрозила она пальцем ребенку, – у тебя отнимут тогда гинею. Так смотри же, не забывай...

– А то посадят в тюрьму, – прибавила Элиза, делая страшные глаза.

Так называемый Сиб ощупал гинею в кармане, решив ни за что с нею не расставаться.

Наконец настал торжественный момент. Элиза, схватив Сиба за руку, повела его на сцену.

Он был ослеплен ярким светом газа, растерялся среди сутолоки актеров, смотревших со смехом ему в лицо, и чувствовал себя пристыженным в отвратительной нищенской одежде!

Наконец раздалась три удара.

Сиб задрожал, точно они пришили по его спине.

Занавес поднялся.

На сцене, декорации которой изображали хижину, находилась одна герцогиня Кендальская, говорившая свой монолог. Вскоре дверь в глубине откроется, и в ней появится с протянутой рукой ребенок, который окажется ее собственным. Надо заметить, что еще на репетициях Малыш очень огорчился тем, что его заставляли просить милостыню. Ведь его врожденная гордость всегда возмущалась, когда ему приходилось вымаливать подавание в приюте Ragged school. Правда, мисс Анна Уестон сказала, что это делается только для виду, но все же оно было ему совсем не по нутру... В своей наивности он принимал все за правду и воображал себя несчастным Сибом.

Ожидая своего выхода в то время как режиссер держал его за руку, Малыш смотрел в щелочку двери. С каким удивлением рассматривал он эту переполненную зрителями залу, многочисленные лампочки вдоль ramпы, громадную люстру, висящую в воздухе, точно огненный шар. Это было совсем не то, что он видел, когда присутствовал в представлениях, сидя в ложе.

В эту минуту режиссер сказал ему:

– Ну, будь же внимателен, Сиб!

– Да, сударь.

– Помни же... ты пойдешь прямо к маме, только смотри не упади!

– Хорошо, сударь.

– Ты протянешь руку...

– Да, сударь... вот так?

И он показал сжатую руку.

– Да нет же, дурак!.. Так показывают кулак!.. Ты должен идти с открытой рукой, потому что просишь милостыню...

– Да, сударь.

– И не произноси ни слова... ни одного!

– Да, сударь.

Дверь в хижину отворилась, и режиссер вытолкнул Малыша на сцену.

Малыш делал первые шаги в сценической карьере. Боже, как у него колотилось сердце!

Со всех концов залы послышался одобрителный шепот, в то время как Сиб с дрожащей рукой и опущенными глазами нерешительно приближался к даме в трауре. Заметно было, что он привык к лохмотьям, которые нисколько не стесняли его.

Ему сделали овацию, что окончательно смутило его.

Вдруг герцогиня встает, смотрит на него, откидываясь назад, открывает объятия.

Из ее груди вылетает раздирающий душу крик:

– Это он!.. Он!.. Я узнаю его!.. Это Сиб... этой мой ребенок!

И она притягивает его к себе, прижимает к своему сердцу, покрывает поцелуями. Он все молчит. Она плачет, на этот раз настоящими слезами, и восклицает:

– Мой ребенок... это несчастное маленькое создание, просящее у меня милостыню!

Это начинает волновать Сиба, и, хотя ему запрещено разговаривать, он не выдерживает.

– Я ваш ребенок? – спрашивает он.

– Молчи! – говорит тихонько мисс Уестон.

Затем продолжает:

– Небо в наказание отняло его у меня и вот сегодня возвращает!

Она произносит все эти отрывочные фразы среди рыданий, покрывая Сиба поцелуями, обливая его слезами. Никогда никто не ласкал так мальчика, никто не прижимал так к своему трепещущему сердцу!

Герцогиня, прислушиваясь, вдруг вскакивает.

– Сиб, – кричит она – ты меня никогда больше не покинешь!

– Нет, мисс Анна!

– Да замолчи же! – говорит она, рискуя быть услышанной в зале.

В это время дверь в хижину неожиданно открывается, и на пороге показываются двое мужчин.

Один из них муж, другой – судебный следователь.

– Возьмите этого ребенка, – говорит муж следователю. – Он принадлежит мне!

– Нет, это не ваш сын! – отвечает герцогиня, таща Сиба в другую сторону.

– Вы не мой папа! – восклицает мальчик. Пальцы мисс Уестон так сильно сжимают ему руку, что он не может удержаться от крика. Но крик этот приходится к стати и ничем не мешает ходу пьесы. Теперь герцогиня – это уже мать, защищающая своего ребенка, это львица, которая никому не отдаст своего львенка!

К тому же и львенок, принимающий все за правду, начинает сам защищаться и, вырвавшись из рук герцога, бежит к герцогине.

– Ах, мисс Анна, – говорит он, – зачем же вы мне говорили, что вы не моя мама!

– Да замолчишь ли ты, несчастный! Молчи же! – шепчет она, тогда как герцог и судебный следователь, видимо, совсем озадачены.

– Да, да, – отвечает Сиб, – вы моя мама... я ведь говорил вам, мисс Анна, что вы моя настоящая мама!

Зрители начинают догадываться, что это «не входит в роль». Слышится шепот, смех. Некоторые шутки ради аплодируют. А между тем им, скорее, следовало бы плакать, так как бедный ребенок, думавший, что нашел свою мать в герцогине Кендальской, был достоин сожаления!

Мисс Анна Уестон почувствовала всю смешную сторону своего положения. До нее доносились из-за кулис насмешливые замечания «добрых друзей».

Возмущенная, измученная, она почувствовала страшный прилив злобы... Причиной всему был этот дурачок, которого она хотела в эту минуту разорвать на части! Но тут силы ее покинули, и она упала без чувств в тот момент, когда опускался занавес при безумном хохоте зрителей.

В ту же ночь мисс Анна Уестон покинула город в сопровождении Элизы Корбетт. Она отказывалась от дальнейших представлений, назначенных на той же неделе, и уплачивала неустойку. Никогда более она не появится на лимерикской.

Что же касается Малыша, то о нем даже не спросили. Она отделалась от него, как от надоевшей вещи. Нет такой привязанности, которая не порвалась бы, когда задето самолюбие.

Малыш, оставшись один, ничего не понимая, но чувствуя, что был причиной большого несчастья, ушел никем не замеченный. Он пробродил всю ночь по улицам Лимерика и зашел

наконец в какой-то большой сад с разбросанными маленькими домиками и каменными плитами с крестами.

Посредине возвышалось огромное здание, совсем темное со стороны, не освещенной луной.

Это было Лимерикское кладбище с массой зелени, усыпанным песком дорожками, лужайками и ручейками, составляющими любимое место прогулок обывателей города. Каменные плиты были могилами, домики – надгробными памятниками, а здание – готическим собором св. Марии.

Малыш провел здесь ночь, лежа на камне под сенью церкви, дрожа при малейшем звуке, боясь появления этого противного герцога Кендальского, хотевшего его поймать. И мисс Анны нет здесь, чтобы защитить его! Его унесут далеко... далеко... в страны, где будут страшные звери. Он никогда не увидит своей мамы. И крупные слезы катились по лицу ребенка.

Под утро Малыш услышал, что его кто-то зовет.

Около него стояли мужчина и женщина, фермеры, шедшие в контору дилижансов и нечаянно наткнувшиеся на него.

– Что ты здесь делаешь? – спросил фермер.

Малыш так сильно всхлипывал, что был не в состоянии отвечать.

– Скажи же, что ты здесь делаешь? – повторила фермерша более ласково.

Но Малыш продолжал молчать.

– Где твой папа? – спросила она тогда.

– У меня нет папы! – ответил он наконец.

– А твоя мама?

– У меня ее тоже больше нет!

И он с мольбою потянулся к фермерше.

– Это покинутый ребенок, – с болью в голосе сказал фермер.

Если бы Малыш был хорошо одет, фермер бы решил, что это заблудившийся ребенок, и, конечно, сделал бы все возможное, чтобы разыскать его семью; но, видя лохмотья, был убежден, что это одно из тех несчастных созданий, которые никому не принадлежат.

– Пойдем с нами, – помолчав, решил он.

И, посадив Малыша к жене на руки, сказал убежденно:

– Одним ребенком больше для нас ничего не составит, не правда ли, Мартина?

– Конечно, Мартен!

И Мартина осушила поцелуями крупные слезы Малыша.

## Глава восьмая. КЕРУАНСКАЯ ФЕРМА

Что Малышу не особенно счастливо жилось в провинции Ульстер – об этом, кажется, нетрудно догадаться, хотя никто достоверно не знал, где и как провел он свои первые годы в графстве Донегалъ.

Коннаутская провинция была для него тоже не особенно милостива, если вспомнить пребывание сначала у хозяина марионеток, а потом в Ragged school.

Когда в Мюнстерской провинции водворился у знаменитой актрисы, можно было, кажется, надеяться, что он покончил с нищетой. Ничуть не бывало! Теперь судьба забросила Малыша вглубь Керри, на юго-запад Ирландии. Хорошо, если бы теперь ему посчастливилось не расставаться более с добрыми людьми, приютившими его.

Ферма Керуан находилась в Керрийском графстве, в одном из северо-восточных уездов, близ реки Кашен. Милях в двенадцати – Трали, откуда, если верить преданию, отправился в шестом столетии С. Брендон открывать Америку до Колумба. В Трали соединяются многочисленные железные пути Южной Ирландии.

В этой области находятся Кланарадерские и Стекские горы, самые высокие на острове. Милях в тридцати к западу разворачивается глубоко вырезанное побережье с дугообразной Керрийской бухтой, размываемой морскими волнами.

Вспомним приведенные нами выше слова О'Коннеля: «Ирландия для ирландцев!» И вот в каком смысле Ирландию можно считать принадлежащей ирландцам.

Существующие в ней триста тысяч ферм принадлежат иностранным владельцам. Из этого числа пятьдесят тысяч занимают более чем по двадцати четырех акров, то есть двенадцать гектаров, восемь тысяч – от восьми до двенадцати. Все остальные – еще меньше. Из этого не следует, что владения все раздроблены. Напротив! Есть, например, три имения, составляющие каждое более ста тысяч акров; так, имение Ричарда Барриджа простирается на сто шестьдесят тысяч акров.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.